

МИХАИЛ ЩУКИН

СИБИРИАДА

ЯМЩИНА



Михаил Николаевич Щукин

Ямщина

Серия «Сибириада»

*Текст предоставлен издательством
Ямщина. Роман / Михаил Щукин.: Вече; Москва; 2007
ISBN 978-5-9533-2429-8*

Аннотация

Велика и необъятна Сибирь. Третью сотню лет русские переселенцы осваивают, изучают, обживают ее бескрайние и щедрые земли. Много всякого люда отправилось сюда в разное время – кто за свободой, кто за счастьем, кто за богатством. Неспешны и рассудительны сибиряки, со всеми находят общий язык – и с пришлыми, и с коренными. Любое дело миром решают. А если и случаются здесь лихие люди, недолго им удастся зло творить – будь ты хоть ямщик, хоть купец...

Новый роман известного сибирского писателя Михаила Щукина безусловно доставит удовольствие всем любителям художественной исторической прозы.

Содержание

Часть первая	6
1	6
2	10
3	17
4	21
5	27
6	31
7	35
8	55
9	61
10	65
11	68
12	71
13	77
14	80
15	85
16	91
17	103
18	108
19	114
20	122
Часть вторая	125
1	125

2	128
3	132
4	137
5	143
6	151
7	154
8	160
9	164
10	167
Конец ознакомительного фрагмента.	172

Михаил Щукин

Ямщина

©Щукин М.Н., 2007

©ООО «Издательский дом «Вече», 2007

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Часть первая

1

Полозья плетеной кошевки весело резали голосистый снег. Ходкая тройка пыхала паром, бойко рассыпала по лесной дороге стукоток копыт. С полудня накалился мороз, вошел в раж и настырно полез под волчью полсть¹, добираться до ног через боярковые пимы. Дюжев ворочался, кряхтел, глубже запихивал ноги в сено, но пальцы, отмороженные еще по молодости, все равно немели, и по телу проскакивал крутой озноб, окатывал спину гусиными пупырышками. Ресницы смерзались, борода взялась куржаком, как лошадиная холка. Дюжев выпростал руки из собачьих мохнашек, отломил наледеневшие на усах сосульки, зябко передернул плечами – студено! Выскочить бы сейчас из кошевки, пробежаться, разгоняя кровь для сугрева, да не тут-то было: отбегал Дюжев. С позапрошлого года он хворал грудью и маялся, досадуя на немощь, тяжелой одышкой.

«Оно и вправду народ бает, – невесело размышлял Дюжев. – Когда дитя падат, ему Бог перинку стелет, а старый шмякнулся – ему черт борону подсовывает». Борону не бо-

¹ Полсть – подстилка из сбитого звериного (волчьего, медвежьего) меха.

рону, а крепко оплошал в позапрошлом годе именитый томский купец Тихон Трофимович Дюжев. Возвращался он из магазина пешком до дома – поразмяться хотелось, целый день просидел за столом, приводя в порядок счета. Потемки уже напоззли, звезды высыпали. Дюжев идет, любуется, от трудов праведных отдыхает. Вдруг чует – кони в спину храпят. Озирнулся – нате вам: варнаки-кошевичники! Выглядели богатую шубу, кинулись за добычей. Варнаков потому называли кошевичниками, что промышляли они на легких, плетеных кошевках и гонких тройках. Вылетят из-за угла, как черти крылатые, накинут аркан на одинокого бедолагу и – гей-гей! – за город. Там обдерут, как липку, и бросят голодным волкам на поживу.

Так вот, озирнулся Дюжев и присел. Аркан прямо над головой свистнул – мимо! Дюжев крутнулся, поймал летящую веревку правой рукой, а тут и коровья глыза, для упора, под ногой оказалась. Уперся и сдернул на землю кошевичника, который аркан бросал. Ну уцелел, славуге навуге, беги домой без оглядки, чтобы подол у шубы заворачивался. Так нет, не тот нрав у Тихон Трофимовича. Решил еще и поучить варнака. Подскочил к нему – и раз да другой – по сопатке. А больше не успел. Кто знал, что следом еще одна тройка летела с таким же темным народом. Эти не промахнулись, в аккурат на шею аркан навесили. Дюжев только и успел обеими руками за него ухватиться, оберегся, чтобы горло удавкой не захлестнуло. Бухнулся плашмя на снег, да со всего

маху, и пошел бороздить улицу грудью. Трах, трах, по ухабам, по глызам – сама смертушка в ухо повизгивает. Но попался на свертке одинокий столб, Дюжев изловчился и успел закатиться за него. Шваркнуло его о столб головой, чуть руки вместе с арканом не вынесло. Дерево затрещало, а натянутый аркан ослаб. Дюжев подхватился на ноги и – в темный переулочек, что есть духу. Когда отбежал и опамятовался, увидел, что веревку в руках держит, а на конце веревки груз болтается. Подтянул – а это задок от кошевки. Конец аркана к задку был привязан, вот и выломило. Бычья, надо сказать, сила со страху проснулась.

А грудь Дюжев зашиб. По докторам ездил, бабки-знахарки лечили – без толку. На ровном месте, в неторопком шаге задыхался. Куда еще хуже!

Он шевельнулся, стараясь удержать ускользящее тепло, взбодрился, отгоняя невеселые думки, и вслух бедовым голосом высказал:

– Ничо-о, детинка с сединой завсегда пригодится!

– А? – обернулся с облучка ямщик. – Чего сказывашь, Тихон Трофимыч?

– Да заморозил ты меня, Митрич, до самого гузна. Пошевели лошадок, пошевели. Не Ваньку-косоротого везешь – Дюжева!

– Эт мы можем! – добродушно отозвался Митрич, встал с облучка и раскрутил над головой кнут. – Уй-ю-юй!

От визга кони прижали уши и коренник перешел в галоп,

а пристяжные, не сбиваясь с рыси, надали ходу. Быстрее замелькали сосны, ветер кольнул в лицо морозными иглами, и Дюжев наглухо закрылся воротником шубы. Раззадорился Митрич, расшевелил коней, тройка неслась, как ласточка, оставляя за собой клубки белесого пара. Длиннохвостая сорока сорвалась с ветки, застрочила в сторону Огневой Заимки, заполошно тараторя во все горло, что важный гость уже на подъезде.

Тройка вынесла на горушку; Митрич, подсигивая на облучке, заорал благим матом, пужнул коней для полного разгона, пошире расставил ноги и приосанился – в деревню въезжали, требовалось форс держать.

Мелькнула поскотина, мелькнули крайние избы. Любопытные бабы в окошки высунулись. Тройка подмахнула к крестовому шестистеннику и вздыбилась, жестко осаженная Митричем. Васька, работник, мухой слетел с крыльца, настезь распахнул резные ворота – пожалуйста, Тихон Трофимыч! Васька забыл впопыхах шапку нахлопнуть, выскочил космачом, и рыжие кудри вольно метались над беззаботной головушкой. Глаза из-под кудрей – как два костерка голубеньких. Дюжев увидел Ваську, повеселел и проворно выбрался из кошевки. К работнику он благоволил, прощал пройдохе за удаль и резвость разные выходки, а тот скалился, горел глазами и рад-радехонек был, что хозяин приехал. Взлетел на крыльцо, двери в сени и в дом поочередно открыл – милости просим!

В доме, в светлой горнице, уже пыхтел самовар, лежали на столе, рядом с моченой брусникой, золотые шаньги. Старая стряпуха Степановна повадки и вкусы хозяйские давно выучила – знала, что с дороги Тихону Трофимовичу первым делом чай подавай и шаньги с брусникой.

Дюжев влез в теплые пимы, нагретые на печке, осилил с разгону стаканов пять чаю и отвалился на спинку гнutoго венского стула – добро! Оглядел горницу, и так на душе ласково, тихомудро сделалось, что невольню подумал: а боль-

ше-то, пожалуй, ничего и не надо в жизни.

В Томске у Дюжева кроме двух магазинов был еще и свой каменный дом, но он не любил там подолгу жить и, едва выдавались свободные дни, сразу же торопился в Огневу Заимку. Очень уж народ ему здешний глянулся: сплошь ямщики, на бичике живут, а повадки – оторви да брось. Он и сам такой был, Тихон Трофимович, – рискованый.

Васька притулился у порога на табуретке, ждал приказаний. Молви слово – он кудрями тряхнет, на одной ноге вертанется и все сделает. Надо будет – звездочку умыкнет с неба. А чего же это приказчика не видно, Вахрамеева?

– Гундосый-то наш где?

Вахрамеев говорил в нос, но звали его гундосым не столько за говор, сколько за характер: нудный был мужик, тягмотный.

– А он на выселках. Там мужики совет держат, расейским судьбу решают.

– Каку таку судьбу? Говори толковей!

– Расейские к нам прибились, парочка. Стали в общество проситься. Мужики подумали и отказали. На выпаса с пашней поскупились – так говорили. А я думаю, голь плодоть не хотят. Их двое, расейских-то, мужик и девчонка соплива, дочка, стало быть. Отказали, значит. А они, расейские, за ночь срубишко на выселках поставили и печку из гольшей склали. А крыши нет, и труба не выведена. Вот и рядятся наши. Одни говорят – обычай надо соблюсти, принять в об-

щество, раз за ночь жильё сробили, други противятся – не до конца, дескать. Крыши нет, и труба, опять же, не выведена. Думаю, однако, подерутся. Отпусти до выселок, Тихон Трофимыч! Без меня кака драка!

– Сиди, не пелься! Драки ему захотелось. Возьму вот бич да сдерну с тебя охотку.

Васька тряхнул кудрями и потупил глаза. Красна девка, да и только. Если бы не знатье, взаправду поверил бы, что парень робеть умеет.

– Ты космы-то не разваливай, а принеси мне шубу и шапку. Пойдем – глянем, кака така судьбина.

На выселках толпился народ. Мужики, издали завидя Дюжева, расступились. Шуметь перестали. Дюжев прошел, отвечая на здравствования, увидел сруб, сложенный из неошкуренных сосновых бревен. Без мха в пазах, без дверей и окон, сруб стоял на стесанных плоских сутунках, положенных прямо на стылую землю. Внутри можно было проникнуть, лишь поднырнув под нижний венец. До крыши руки плотника не дошли, но матицу из крепкой, прогонистой лиственницы он положить успел. Обтекая ее, из сруба тянулся дым.

– Неча им тута делать, пушай дальше гребутся!

– Неладно, мужики, получается: стены есть, дым идет, а мы гоним.

– На готово-то все горазды!

– Они чо, корову у тебя увели, базлаешь...

– Корову не корову, а земли им выдели, покос отведи, и под ту же самую корову выпас надо.

– Да земли-то у нас хоть заглонишься. Пусть вон чашшобу чистят да сеют.

– На-а-ак, раздухарился...

Мужики судили-рядили, а Дюжев не вмешивался. Знал, что слово его окажется не последним, и потому хотел сначала глянуть на расейских – что за люди? Подошел к срубам, наклонился к нижнему венцу и окликнул:

– Эй, сердешные, покажитесь! Где там запрятались?

Мужики стихли. В срубам зашевелились, и наружу высунулись, пятками вперед, исшорканные бродни. «Скоро обживатся, – приметливо усмехнулся Дюжев. – В чалдонску обувку перемахнулся».

Разъезжая по большим и малым сибирским трактам, он досыта нагяделся на переселенцев. Видел, как тянулись они с весны и до первого снега на подводах, груженных домашним скарбом, мокли, голодали, мерзли; бывало, и помирали, но редко заворачивали обратно: земля манила, а еще пуще – вольная жизнь на этой земле. После царского освободительного указа река переселенцев растеклась, как в половодье, и достигла самых дальних углов холодных пространств. Шли переселенцы обычно гнездами, по три-четыре десятка семей сразу, а эти только вдвоем оказались. Что за причина?

Дюжев с любопытством уставился на мужика, который вылез из-под сруба и выпрямился во весь рост, а после низ-

ко, но с достоинством поклонился обществу. В густой бороде, уже обметанной сединой, торчали крошки сосновой коры и смолевые щепочки, прилетевшие из-под топора. Красные глаза слезились – видно, нахватался в срубе едучего дыма.

– Откуда пожаловали? – весело спросил Дюжев.

– Рязанские мы, – глухо ответил мужик. Развязал и потуже затянул на себе веревочную опояску.

– А в Рязани пироги с глазами! – бойкой скороговоркой передразнил Васька. – Их ядять, а они глядят!

– Цыть! – окоротил его Дюжев. – Тебя не спрашивают, так ты не сплясывай! А чего одни?

– Наши по осени у Тюмени осели. А мне там не по сердцу. Дальше тронулся. Баба и ребятишек двое примерли, лошадь околела. С дочкой остался. Здесь желаем остановиться. Тут мне по сердцу. Явите милость, господа хорошие, разрешите остаться.

Мужик приложил широкую ладонь к груди, к старому ветхому шабуру и еще раз, по-прежнему низко, с достоинством, поклонился.

– А как ты без коня хозяйствовать станешь? На себе пахать? – спросил кто-то из несговорчивых мужиков.

– У меня руки есть. – Расейский раскрыл ладони, испятнанные желтыми буграми мозолей, посмотрел на них, словно прикидывал, на что они годны, и добавил: – Они и выручат.

Из-под сруба вылезла совсем еще молоденькая девка. Крутые щеки у нее были измазаны в саже, а круглые глаза

так и резали по мужикам сердитыми искрами, словно желали сказать: люди вы али нелюди, неужто нам места на земле не дадите?

Дюжев увидел девку и пугливо шагнул назад. Рука сама дернулась отмахнуться крестным знамением. «Марьяша?!» – чуть не сорвалось с языка. Но вовремя опамятовался, придержал руку и прикусил язык. «Да ты спятил, парень, откуда Марьяше быть, она там осталась...». Встряхнулся, чтобы вида не показать, носком пима в снег потыкал и, стараясь не глядеть на девку, повернулся к мужикам. Сказал, не выказав удивления:

– Труба не выведена, зато матица положена. По совести надо судить. Матица – она всю избу держит. Верно, нет ли, толкую?

– Верно... – вразброд отозвались мужики.

– Тогда и приговор вынесем – пускай живут. Поимеем уважение, работа-то чистая, без подвоха. А я от себя два ведра вина выставлю, на общество. То скажете после – Дюжев, мол, ради смеху нам насоветовал.

– Не скажем...

– А и впрямь – жаль христовеньких...

– Пускай живут...

– Девка-то вон как баскяшша, хоть и чумаза.

– Ничо, отмить, так твоему дурню вровень, однако, будет.

– Да я в потемках-то сам ишшо померюсь!

– Гы-ы...

Дюжев перемог соблазн и на девку не обернулся, не посмотрел. Домой заторопился. Васька, след в след, попевал за ним.

«До чего похожа! Капошная прямо, капля в каплю. Ровно с того света вернулась, чтобы мне показаться. Марьяша... Может, и впрямь вернулась? Окстись, парень, не съезжай с ума!»

Снег под пимами похрупывал, и Дюжеву чудилось, что на каждые три шага под ногами у него выговаривалось: «Марья-ша...»

Сердито передернулся, сбрасывая наваждение, крепким, хозяйским голосом позвал:

- Васька!
- Тут я!
- Баню готовь!

3

Баня – отрада души и тела. Жить без бани Дюжев не мог. Когда его одолела хворь, он затосковал. При самом малом, чутешном паре, сидя у дверей на низкой лавке и не помышляя даже забраться на полку, он все равно задыхался, начинал кашлять и в конце концов выскакивал с матерками в холодный предбанник: будто медом по губам помазали, а поест не дозволили. Одевался как попало, выходил на улицу, и мир перед ним представлял кургузым и блеклым, совсем не таким, как после пара и веника, когда округа распахивается до бесконечности, являясь в такой нови, словно только что сотворил ее высокий промысел.

Будто кусок жизни украли.

А выручил хозяина Васька, гораздый на всякую выдумку. Вровень с полком вырубил в стене бани дыру, и – приходи, кума, любоваться! Пока горели дрова и нагревалась каменка, дыра была накрепко заткнута тряпками. Но вот баня накалилась, выстоялась. Готово! Дюжев раздевался в предбаннике, набирал в грудь побольше воздуха и нагишом нырял на полку. Выталкивал тряпки и просовывал голову в дыру. Васька, карауливший на улице, махом напяливал старый треух на голову хозяина, шею обматывал ему башлыком, а остальное пространство, чтобы и щелочки не осталось, затыкал теми же тряпками.

И повторялось всегда одно и то же, как и в сегодняшний вечер.

Васька присел, снизу вверх заглянул в лицо Дюжеву.

– Все ли ладно, Тихон Трофимыч?

– Все ладно. Гони!

Васька не шевелился. Баня для него – хуже каторги. А за здорово живешь он на каторге отбывать не желал. Хоть и махонькую, а должен поиметь выгоду. Как примерз, сидя на карточках. Дождался, когда сухой пар припечет хозяина.

Дюжева пронзило нестерпимой чесоткой, он засучил по полку ногами и, хорошо зная Васькины повадки, заорал:

– Чо надо? Чаерез проклятый, душегуб! Говори сразу, не томи!

Васька только этого и ждал, затараторил:

– Тихон Трофимыч, дозвожь на Игреньке в Шадру проехать! Там у них гулянье будет. Я тихо-тихо, тише мышки поеду.

– Макаташек веселить! Креста на тебе, Васька, нет! Парь, зараза! Парь!

– Так я запрягу Игреньку-то в воскресенье? В Шадру проехать?

– Запрягай, лихоманец! Парь, зараза!

Васька подпрыгнул, скинул от радости заячью петлю и нырнул в предбанник. Шапку на голову, чтобы уши от жары не свернулись, на руки – легонькие рукавицы. Господи, благослови, дай силы каторгу вынести!

Рванула каменка крутящимся паром, чуть крышу не снесло. До самого нутра ожгло жаром. Разлапистый березовый веник прошелся вприпляс по дюжевской белой спине, обметанной на лопатках коротким и рыжим волосом. Э-а-х! Пошло-поехало!

– Под-дай! Ишшо поддай! У-у-у! – рычал Дюжев, и рык его, схожий с медвежьим, широко, далеко разносился в стоялом морозном воздухе. Над переулками, над избами и дальше – за поскотину, за речку Уень, до самой середки урманя. Вся Огнева Заимка, вся округа слышала, как парится Дюжев.

– У-у-у! Пуще! Жарь пуще!

Васька задыхался, смахивая с лица обильный пот напололам с соплями, и – жарил! Прыгали в глазах цветастые кругляши, пол из-под ног уползал, колени сами собой подсекались. Пасть бы на четвереньки и ходу-ходу из бани, но Дюжев, не зная удержу, базлал с улицы:

– Пуще, заррраза! Бздани!

Каменка бухала, принимая на себя хлебный квас, отрыгивала невыносимый жар, и чудилось, что еще немного, еще один ковшик – и баня улетит в небо вместе с парильщиками.

Но баня устояла. Вытерпел и Васька. Досыта напарил Дюжева, выполз следом за хозяином на улицу, плюхнулся в сугроб и по-собачьи стал хватать снег – только шип пошел, как от железяки, накаленной в горне.

Не беда, мыслил Васька, очумелость пройдет, а в воскресенье он снимет пенку, покрасует в соседней Шадре на Иг-

ренъке, пустит пыль в глаза кому следует.

Печкой неба не нагреешь. Да была бы печка как печка, а то смех один: из камня-голыша сложена, задень нечаянно – и завалится. А еще дым досаждал, насквозь прокоптивший одежду. Но Роман Званцев не отчаивался, не позволял тоске спеленать сердце. Хлопал себя по бокам, бегал по срубам из угла в угол и верил: утрясется потихоньку, умолотится и наладится. Главное – мужики согласие дали. А к иному прочему он сам руки приложит. Избу поставит, пашню засеет, Феклушу замуж определит за хорошего человека, а состарится – станет внучат тетешкать.

«Бог нас повел, Бог и остановил», – думал он с благодарностью, истово веря, что охраняет их с дочкой вышняя сила. Все к тому складывалось.

На постоялом дворе в Шадре – это последняя деревня на тракте перед Огневой Заимкой – Роман ослаб духом и пригорюнился. Как ни крути, а кругом выпадал клин: жену с ребятами схоронил, от своих оторвался, лошадь потерял и оказался в чужом краю никому не нужным. Как дальше жить, куда брести? Одни потемки маячат.

Он сидел на лавке в дальнем углу постоялого двора, баюкал на плече голову сморившейся в сон Феклуши и готов был вот-вот уронить мужичью слезу. А вокруг суетня, стук-грюк. Двери хлоп да хлоп. Одни обозы уходят, другие при-

ходят. Ямщики в необъятных тулупах вваливаются, чаю требуют – скорей, скорей. Ведерные самовары пыхтят без продыху, а все равно мало. У потолка пар мутный слоится, овчиной пахнет, сеном. Тут же, за столами, торговый народишко гоношится, куплю-продажу ладит, до множества раз по рукам бьет, пока в цене не договорится – гул стоит, будто вороны на вспаханное поле весной налетели.

И нет никому дела до горького бедолаги, притулившегося в углу.

Роман прикрыл глаза, чтобы слезу не сронить, понурился. И тут его тронули за плечо. Он вскинулся и видит: стоит старушка в черном, на монашку смахивает. Платок низко повязан, глаз не видать, а лицо ветхое, до того скукожилось, что одна морщина на другой лежит, а третья их обнимает. Зипунишко ношенный-переношенный, весь в заплатах, даже палка, на которую опиралась старушка, и та была старой: обшоркалась до черноты, в иных местах сучки от сухоты выпали.

– Ты не печалуйся, – заговорила старушка. – Не печалуйся, родненький. Дорога у тебя верная впереди лежит, только остановись вовремя. Как услышишь – колокола звонят, на том месте и оставайся. Там и добро найдешь. А боле никуда не гонись. От добра добра не ищут.

Роман глазами хлоп-хлоп – а старушки след простыл. Будто и не было. Уж не поблазнилась ли она?

Феклуша голову подняла, спрашивает:

– Батюшка, а чего старушка сказывала?

Он таится не стал, передал дочери услышанные слова и тут же, не поднимаясь с лавки, решил: дальше надо ехать, до упору.

В Огневу Заимку добрались они с попутным обозом уже ночью, при луне. Обозники покормили лошадей, тронулись дальше, а Романа с Феклушей ссадили. Ямщик зауросил, словно его блоха укусила, и выпрягся. Понес чепуховину: кони приморились, дорога дальняя, тяжесть лишняя на санях, а потому слезайте – и никаких гвоздей. Ясно дело – хотел хитрый чалдон лишнюю плату выжать. А какая у переселенцев лишняя плата? Доброе слово сказать да поклониться?

– Из поклона шубу не справишь, – буркнул ямщик. Разобрал вожжи, причмокнул, понужая лошадь, и даже не оглянулся, ловко запрыгнув на сани.

Истаял за поскотиной скрип окованных полозьев, послышалось напоследок приглушенное фыркание лошадей, и скоро все стихло. Спит деревня. Ни огонька. Одна лампада над миром светит – круглая, ядреная луна в цветастом морозном ободке.

– Пойдем, батюшка, – позвала Феклуша. – На месте ночлег не выстоишь.

И то верно. Роман зябко передернул плечами, пошел, сам не зная куда. Наугад. Решил стучаться в первую избу, проситься Христа ради под крышу. Хотя и знал, что чалдоны не шибко приветливо распахивают двери перед чужими. Места лихие, тракт рядом, а на тракте всякий народишко ошива-

ется, и каждому в нутро не заглянешь. Так что и поплакать придется, и поклоняться. Но для Феклуши Роман на все согласен. Вот она, лапонька, как примерзла, дрожмя дрожит. «О, Господи, прости нас, грешных, яви свою милость», – Роман и не заметил, что произнес эти слова вслух. Феклуша не расслышала и спросила:

– О чем ты, батюшка? – и тут же ахнула, споткнулась на ровном месте, ухватила отца за руку. – Батюшка, гляди, свет-то какой! На бугре! Видишь?

В широком проеме меж избами вздымался высокий бугор, накрытый нетронутым целинным снегом. Он не искрил под луной, как в иных местах, а тихо и ровно светился сам. Пробивались снизу прозрачные ленты, выплывали, сменяя одна другую, и плавно поднимались вверх, связывая воедино низ и высь. Ни огонь, ни солнечный луч сравниться с этим светом не могли – так он был непорочен и чист.

Не сговариваясь, Роман и Феклуша пошли прямо на свет. У изножия бугра снег перестал проваливаться, ноги теперь ступали по незыблемой тверди, и скоро опажнуло лица ощутимым теплом. Словно невидимый кто дохнул на околевших путников, пытаясь согреть их. Свет редел, истончался, а после канул в белесой стыни, не оставляя после себя никаких следов. Но тепло не исчезло. Роман и Феклуша взошли на макушку бугра, и им, иззябшим, почудилось, что перешагнули они порог избы, жарко натопленной на ночь.

Они замерли, а в тишине явственно заговорили колокола.

Сначала тихо, словно в раздумье, а после укладчивей, звонче, с захлебом, словно на светлую Пасху в далекой отсюда родной деревне.

– Батюшка, – шепотом позвала Феклуша. – Это ведь Господь нас увидел, знак дал, – она перекрестилась, словно убоившись своей догадки, и попросила: – Не трогаться бы нам дальше, батюшка, тут бы и жить.

А Роман сам, без Феклушиной подсказки, решил: здесь. Истинную правду, выходит, старушка отмерила.

Сейчас, резво бегая в срубе, смахивая слезы, выдавленные из глаз едучим дымом, он думал о добром. Все-таки упала удача в руки: мужики смилостивились, благодаря заступному слову купца, разрешили поселиться – вот и славно. А мороз... мороз, он вертучих пугается, не достанет.

– Ты побегай, Феклуша, побегай, оно теплей будет.

– Да я, батюшка, и так не сижу. И бегала, и прыгала, разве что не плясала. Чу, батюшка, идут к нам.

Роман остановился, сбил треух на затылок. Поскрипывали неподалеку скорые шаги. Целился поздний гость, судя по звуку, напрямиком к сруб. А чтобы ходьба не в скуку была, громко насвистывал – соловей да и только.

Роман поднырнул под сруб, осторожно выглянул. Луна светила исправно, и он сразу узнал парня, который высунулся сегодня с присказкой. Васька, наряженный в барнаулку и в пимы, скатанные из белой шерсти, шел, словно приплясывал. Ходуном ходила молодая сила, искала выхода. Шапки

на голове не было, и рыжие кудри обнесло инеем.

– Ночевали-спали! – он дурашливо изогнулся и в пояс поклонился Роману. – Сопли-то не оттаяли?

– Ты не балабол, – строго осек его Роман. – Над нами грех смеяться, мы люди бедные.

– Ладно, не буду, – согласился Васька. – Еще слезами заревете – куда деваться. Забирай свою чаду, поведу вас на ночевку. Хозяин послал, зовет к себе ночевать. Чо окостенел? Идти не хошь али гордый?

– Нам гордиться нечем. А раз зовут – чего ж не пойти. Феклуша, вылезай.

Васька крутнулся на задниках пимов, плечами под барнаулкой передернул и подался к дюжевскому дому, не оглядываясь. Считал, что много чести будет для расейских, если он оглядываться станет да беспокоиться. Не махонькие, не отстанут.

Вечером, когда Дюжев отпыхался и охолонул после бани, к нему явился гость – деревенский староста Тюрин, еще крепкий старик, степенный и рассудительный. Сначала, как водится, поговорил о том о сем, неважном, и вдруг взмолился:

– Тихон Трофимыч, яви божескую милость, не заваливай ты нас дугами, гвоздей уж нету, чтобы их развешивать.

– Каки дуги? – не понял Дюжев.

– Да твои, твои, Тихон Трофимыч. Гундосый нас совсем задавил без тебя. Какую мелочь ни купишь в лавке, а он все равно дугу кладет сверху. Не станешь брать – никакого иного товару не дает. Как бы до греха не дошло – мужики у нас, сам знаешь, осерчать могут.

– Погоди, погоди. Как, говоришь, он торгует?

– Да вот так! Берет мужик полфунта чаю, либо китайки бабе своей на кофту, либо бутылку стеклянную – да хоть что берет! – а Гундосый внакладку еще и дугу вручает. Да нахваливат: дуга-то вон кака звонка, крашена, ей век сносу не будет. Мы их столько набрали – на внуков хватит!

– Ах ты, бородавка носатая! Додумался! Ладно, я сыму стружку! Так и скажи мужикам – сыму!

Выпроводив Тюрина, Дюжев тут же призвал приказчика для ответа. Вахрамеев неслышно вошел в горницу и закивал

острой головкой. Его длинный нос с темной бородавкой на самой пипке покрылся потом.

– Ваша правда, Тихон Трофимыч, оплошка вышла, не думал, что осерчаете. А с другой стороны, плохого умысла не было...

Голос у Вахрамеева тонкий, как бабий волос тянется, и нет ему ни конца, ни порыву. Слушать его – тоска голимая.

– Тоже мне, торговец сыскался! – строжился Дюжев.

– Такая партия большая, за год бы не продать. Там и осталось совсем маленько, скоро продали бы...

– Я те продам! Еще раз кому дугу сунешь – я через хребет тебе ее переломаю!

Дюжев злился еще и потому, что оплошка с дугами вышла по его вине. А если не вилять и признаться, как на духу, – по пьяному делу. Ехал он по первому зазимку из Томска и завернул в кабак – нутро чаем погреть. А в кабаке местный кустарь гулял. И так он песни пел, так он, сердешный, вытягивал их, будто с души снимал, что Дюжев раздернул воротник рубахи и вспомнил свою прошлую жизнь – словно в яви она восстала. Всхлипнул и перебрался к кустарю за стол.

Дальше – дело любезное. Кустарь до утра пел, а Дюжев слушал и плакал. До того растрогался, что пообещал все дуги купить, какие кустарь выгнул. И цену положил – от души.

А наутро, когда хмель вышел, прояснило: у кустаря шесть сыновей, и все они, женатые и холостые, жили с тятьей под одной крышей и все дуги гнули. Навалили их, дуг этих про-

клятуших, аж пять возов. Дюжев увидел – чуть не подавился с досады. Но деваться, однако, некуда: дал купецкое слово – держи.

– Ты приезжай! – говорил на прощанье кустарь. – Ты мне глянешься! А я петь люблю и работать люблю – вон сколько добра с сынами наделал!

Сани, тяжело груженные звонкими дугами, уже поскрипывали по тракту. Дюжев молчком выругался и поехал следом.

– Потачку вы мужикам даете, Тихон Трофимыч. Они скоро на шею вам сядут и ноги свесят. Жаловаться прибежали, надо же... На дугах я их разорил... – продолжал тусклым голосом тянуть Вахрамеев и указательным пальцем трогал на носу бородавку.

Дюжев глядел на него и дивился: надо же, такой образине и светлый ум достался. Приказчик помнил все, что касалось торговли. Разбуди его ночью, спроси, сколько фунтов чаю в прошлом году продали или сколько аршин мануфактуры привезли два года назад из Ирбита, да хоть что спроси – он бородавку потрогает и ответит точнехонько, по записям сверяться не надо.

Жил Вахрамеев бобылем, жалованье ему Дюжев платил справное, но и отработывал приказчик его с лихвой: копейки хозяйской не переплатит. Берег дюжевское богатство, как свое.

– Вот что, друг милый, ступай, – Дюжев махнул рукой, вы-

проваживая Вахрамеева из горницы. – Нечего тут разговоры городить. Ты два десятка лишних дуг продашь, а после нам петуха пустят. Да и совесть поиметь надо – что люди скажут! Ступай, я сказал.

Вахрамеев ушел. Дюжев потоптался в пустой горнице, повздыхал, сам не зная о чем, и отправился в спальню. Пуховая перина глубоко провалилась под его тяжелым телом, обняла мягкой прохладой, и он уснул, напоследок успев подумать: «Девка-то, надо же, голимая Марьяша...»

6

...Двери спальни отпахнулись настезь, пестрый народишко вломился через порог в полном молчании. Лампада на божнице трепыхнулась извилистым огоньком и погасла. Сизая струйка потекла к потолку. Дюжев дернулся, пытаюсь вскочить с перины, а сил – нет. Шевельнуться не может. Народишко мечется, кричит беззвучно, все целятся залезть в дальний угол. А в глазах у каждого одно-единственное – убивают! Дюжев и рад бы защитить их, а не может: лежит, как пластом земли придавленный. В открытых дверях – темь, а из нее – ружейные огоньки. Люди валятся, подрезанные пулями. И вот уже все – лежат. Темь в дверях налилась, загустела, огоньки перестали вспыхивать, и на середину спальни вышла Марьяша. Коса распущена, волосы – как спелая рожь на белом снегу исподней рубахи. Развела руками и поплыла к Дюжеву, не касаясь ногами чисто выскобленных половиц. Просторная рубаха взвихривалась, откидывая белизной темноту. Марьяша протянула руку, Дюжев дернулся навстречу, желая припасть лицом к раскрытой ладони, и пробудился.

Ошалело повел глазами, увидел: в лампаде огонь теплится, с иконы проступает суровый лик Спасителя, а в самой спальне пусто и по углам темно.

– Васька! – сдавленно крикнул Дюжев и зашелся в надсад-

ном кашле. Его трясло.

Васька вылупился, как из-под земли. Засветил огонь, подернул сползающие исподники, наклонился над хозяином. Дюжев прокашлялся, смахнул слезы, хрипло выдохнул:

– Вина давай!

Глазом моргнуть не успел, а перед ним стоял уже графинчик зеленого стекла, глубокая чашка с моченой брусничкой и лежала, посвечивая золотистой коркой, утрешняя шаньга. Вино из длинноногой рюмки Дюжев вливал в себя через силу – не хотелось ему пить, но он, желая перешибить наваждение, в один присест ополовинил графинчик. Икнул и отодвинул его от себя, Ваське:

– Пей, гулеван. Опять ночью притарашился?

– Да как можно, Тихон Трофимыч! Спал я. Как расейских привел, сразу и завалился.

– Ври шибче!

– Да ей...

– Не божись. Пошли они, расейские-то?

– Куда им деваться! Вприпрыжку кинулись, подолы в веревочку завились. Спят, поди, без задних ног.

– Спят – это хорошо, – раздумчиво протянул Дюжев, все еще не избавясь от наваждения, явившегося ему во сне. – Васька, соври чего-нибудь посмешней, тягомотит меня, сна нету.

– А чего соврать-то? Я и не знаю, – простодушно оскалился Васька и тут же, вспомнив, предложил: – Разве прошло-

годний случай, про гаданье...

– Давай про гаданье, все равно сна нету.

Васька переступил с ноги на ногу, словно ему подошвы жгло, зачастил бойкой скороговоркой – как горох на пол просыпал:

– В прошлом годе, на Рожество, девки у нас гадать собрались, а мы подслушали случаем. Решили они ночью в хлев забежать. К овцам. Кто барана поймает за хитро место – стало быть, свадьбу играть, а коли ярочку – жди, красавица, дальше. Вывернули мы шубы с парнями, ночи дождались и в хлев. Порты скинули и сидим, голозадые, ждем, когда ворожейки вяжутся. Овечек – в угол, сами к дверям поближе. Слышим – идут. У хлева остановились, оробели. Слышим, Нюрка Завалихина говорит. Вы, говорит, девки, не пугайтесь, я первая забегу. Открыла двери и шарит в потемках. Я ближе всех сидел, она меня и надыбала. Хвать-хвать по шубе и за это само место. Мне щекотно, спасу нет, я возьми да и хрюкни. Нюрка дернулась, но добычу держит, не отпускает. Шепчет: пусть жених у меня будет красивый, добрый, а хозяйство богатое, чтоб любил меня и на руках носил. Ах, ты, думаю, губу раскатала! Еще и на руках тебя, карчу неподъемную, таскать. Отвечаю ей шепотком: а шиш с постным маслом не хошь, Нюра? И отцепляйся, говорю, от меня, я мужик живой, а не деревянный, могу и грех сочинить. Тут парни заржали – терпелка лопнула. Кэ-эк Нюрка взвилась, едва потолок макушкой не вышибла. И – в двери. Выскочила, забла-

жила – девки кто куда. Пырск – и нету. А Нюрку по осени и впрямь засватали, в Шадру увезли.

Васька замолчал, а Дюжев шевельнулся – ничуть он не повеселел – и недовольно сказал:

– Кобель ты, Васька, и на уме у тебя одно – кобелячье.

Тот вздохнул и стыдливо опустил глаза.

– Иди спи.

Васька неслышно, по-кошачьи ступая на половицы, вышел. Дюжев остался один. Сон его не брал, не брало и выпитое вино. Увиденное во сне не отступало, стояло перед глазами. «Помянуть надо Марьяшу. Милостыню подать. Когда покойники снятся, поминать, говорят, надо. Как она тянулась, сердешная... И девчушка расейская на нее похожа. Неспроста это. Знак какой-то. К добру ли, к худу? Неужели судьба еще раз пытаться хочет? Не надо бы, сытый я испытаньями под завязку, не надо бы... А?»

– Свободушку я любил. Она сла-а-дкая, слаще на свете ничего нету. Как ударюсь в бега, отбегу от рудника в чернь, паду под листовенницу и плачу – уж так мне светло. Перевернусь на спину, глаза открою, и чудится: подниму руку и до неба достану. Небо на воле близеньким кажется. Здесь оно далекое, не долететь, а там рукой можно тронуть. Там... – дед поднимал кривой изломанный палец и слепо тыкал им, по памяти, в сторону черни, которая густой щетиной ползла по гористым склонам, окружая со всех сторон рудник. Рудник был старый, открытый еще при Демидове. После забрали его в царскую казну, но порядки остались прежними: работа да шпицрутены. И судьба у бергала все та же, известная: впряжешься парнишкой в работную лямку и тянешь ее до края могилы. Иные, отчаявшись, наговаривали на себя напраслину, заявляли начальству, что человека убили, ввали напропалую – кому что на ум придет. Лишь бы на настоящую каторгу попасть. Там, сказывали, легче. Начальство об умысле частенько догадывалось, и хитрованов гоняли сквозь строй, спуская шкуру до сырого мяса.

Избавлялись от работы бергалы побегами. Их ловили, вваливали на полную катушку шпицрутенов, загоняли в самые гиблые штреки, а все равно: только пригреет солнышко – и поминай как звали. Хоть ненадолго, а вольно.

Дед Дюжева, Акинфий, бегал всю свою жизнь. На спине у него живого места не было – изрублена, испорота; шутка сказать – восемнадцать тысяч шпицрутенов за долгие годы досталось. Выдержал. А вот глаза, отстояв без малого сорок лет у плавильной печи, не сберег. Под старость он уже ничего ими не видел, кроме одного – блеска расплавленного серебра. К печи Акинфия подводили под руки, приставляли к застекленному оконцу, и он, горбясь и приседая, оповещал: «Узрел, ребята...» Всегда точно угадывал тот момент, когда серебро расплавлялось и надо было открывать задвижки, разливать его по формам, чтобы не улетало оно без пользы в воздух.

– Воля – она там... – дед тыкал кривым пальцем, а маленький Тишка тянулся взглядом к острым верхушкам елей и лиственниц. – За нее, любушку, и пострадать не грех. Слышь, Тишка, тебе говорю – не грех за ее пострадать, она того стоит, она много стоит...

По весне, как только заголосили птицы, дед велел отвести себя за рудничный поселок. Оперся на острое плечо внука и подался спотыкающимся шагом к ближним лиственницам. Добрел, лег под одну из них и велел Тишке нарвать колбы. Помусолил беззубыми деснами сочные стебли, выпустил на бороду зеленую слюну и, слабея голосом, отослал Тишку в поселок за матерью. Когда Тишка привел мать к лиственнице, дед был уже мертв. Лежал, сложив на груди руки, и лишь один палец, кривой и порубленный, торчал отдельно, указуя

в небо.

Через два дня после дедовых похорон в избенку к Дюжевым заявился будочник и объявил: отцу вместе с отроком велено явиться к управляющему в горную контору. Управляющий, немец Риддер, знавший по-русски с пятого на десятое, но ругавшийся черным словом не хуже пьяного бергала, вышел на крыльцо, оглядел собранных семилетних мальцов, буркнул «гут» и ушагал на коротких ножках в контору. Остальное секретарь разъяснил: все мальцы для казенной работы пригодны, всем надлежит явиться завтра на разборку руды.

Когда наступил урочный час, мать не смогла разбудить Тишку. Поднимет его с топчана, а он даже глаз разлепить не может. Что делать? Не придет вовремя – палок отведает. Взяла она тогда сынка на руки и понесла на царскую работу.

Три года разбирал Тишка руду, бит был за всякую мелкую оплошность, горького нахлебался выше ноздрей. Вскоре на руднике появился новый управляющий, Пфэффер, опять же из немцев. Большой охотник по бабьему делу. Новые порядки завел, обязал женок поочередно полы мыть в конторе и у него дома. Ну, а какое мытье получалось – известно. Дошла очередь до Степаниды Дюжевой. Пришел будочник, передал приказ, а Трофим озлился и фигу ему под нос – на, выкуси! Будочник переморщился, а на другой день заявился снова. С тем же самым приказанием. Трофим поднялся с лавки, перекрестился на образа и тайком вынул из шкафчика сапож-

ный нож.

Пфеффер стоял на крыльце и ждал. Увидел строптивного бергала, закричал, грозя карами. Трофим слушать не стал. Махом перепрыгнул все пять ступенек и всадил нож в пухлый живот управляющего. По самую тряпку, которой рукоятка была обмотана. Выдернул, и вдругорядь, тоже по самую тряпку, чтоб уж наверняка. Так и получилось. Пфеффер не успел охнуть.

Трофима – в кандалы, и в Барнаул. Военный суд после недолгого разбирательства решил: за смертоубийство управляющего Пфеффера приговорить мастерового Дюжева к наказанию кнутом – девяносто ударов. Иными словами – к смерти. Девяносто ударов, да если кнут в руках такого палача, как Козырев барнаульский, никто не выдерживал, будь человек хоть живей живучего. Ни на что не надеясь, Трофим приготовился к смерти.

Поглазеть на забавное зрелище собрался весь чиновный Барнаул. Стоят, пересмеиваются – чужое горе не щекотит. Возле «кобылы» Козырев прохаживается. Мужичонка низкорослый, одно плечо ниже другого, а руки... на руки страх глянуть – длинные, чуть не до земли, ладони широкие, как лопаты.

«С половины, с трех-четыре-х десятков зашибет на-смерть», – так все думали, глядя на Козырева.

Привели Трофима, положили на кобылу. Козырев на полный мах выкинул и взвил в воздухе кнут. С первого удара

просек кожу. Кровь брызнула. А это уже какое-никакое облегчение: на мокрой спине кнут вязнет, не так сильно зашибает нутро. Начальство загомонило. Козырев словно и не слышит, стегает полегоньку. Начальство громче загомонило: так-де не наказывают, пори шибче! Козырев кривыми плечами передернул и кнут бросил: «Не глянется – сами порите! А я люблю, кто начальство режет!». За такие речи его тут же на земле разложили, вломили шпицрутенов для прочистки головы и велели пороть дальше. Козырев притворился, что испугался, стал показывать усердие. Кряхтел, тужился, вскидывал кнут со свистом, но бил вполсилы. Оберег Трофима от смерти, хоть и пришлось самому после плохой работы еще раз лечь под березовые палки.

Трофим оклемался в лазарете, вернулся домой, и его сразу запихали в самый гиблый штрек рудника. Там и загинул вместе с пятью товарищами после обвала. Военный суд, тот же самый, что приговаривал его к наказанию кнутом, провел расследование и огласил: «За неотысканием виновных в смерти мастерового Дюжева предать дело воле Божией».

Степанида без мужа затосковала и быстро, как восковая свеча, истаяла.

Тишка остался один, а при нем – слова деда о вольной воле. Манила она, зазывала ночами, обещала: за высокой стеной черни дышится совсем по-иному. И Тишка на ее голос отозвался – ушел в бега. Его не поймали, он не погиб с голоду, и зверь его не задрал. Выкрутился парнишонко, через

игольное ушко проскочил. Пристал к ватаге ревнителей старой веры, отправился с ними искать заоблачное Беловодье. Окреп, огляделся, из ватаги ушел и дальше сам, в одиночку, отправился по сибирской, никем не мереной земле.

Побывал на казачьей Омско-Семипалатинской линии, где угонял коней от киргизов, по морю Байкалу плавал с рыбацкой артелью, в городе Иркутске, сломя голову, носился половым в трактире, в Ишиме у богатого крестьянина муку молот на мельнице – много чего пришлось отведать. Всего не упомнишь. Как лопух, проклюнувшийся у дороги и никому не нужный, Тихон Трофимыч, чтобы устоять на этой земле, гнал свой корень в самую ее глубь. Везде у него были знакомцы, везде он приходился ко двору, везде успевал примечать острым взглядом порядки, обычаи и неписанные сибирские законы. Легко ему давалось и любое ремесло: дома научился рубить, лошадей ковать, кадушки делать, полозья гнуть, пимы катать. Самоуком грамоту одолел. И когда занесла судьба к томскому купцу Кривошеину, тот обеими руками ухватился за толкового парня. Взял на работу, в дом к себе ввел, а вскоре и вовсе определил за сына, назначил старшим приказчиком. Лучше бы не назначал. Да кто тогда ведал, что впереди выпляшется...

После Масленицы Тихон и Кривошеин возвращались с пушниной от остяков. Торг был удачный. Соболиные шкурки, обмененные на мануфактуру, чай, порох и вино едва уторкали в кожаные мешки. Вечером подкатили на трех под-

водах к постоялому двору, от которого оставалась до Томска ровно половина пути – три дневных перегона. Долго долбились в глухие запертые ворота. На стук вышел хозяин, угрюмый, рыжебородый мужик, старый знакомец Кривошеина.

– Федор, ты пошто на запорах сидишь? – поздоровавшись, удивленно спросил Кривошеин. – Боишься кого?

– Да мы уж втору неделю как в осаде живем, – отозвался Федор и настезь распахнул половинки ворот, пропуская подводы. Тут же закрыл ворота и заложил толстенный запор, вырубленный из березового комля. – Варнаки у нас объявились, каторжанцы беглые. Шалят, заразы. Вот и приходится оберегаться. Третьеводни обоз с товарами подчистую на тракте разгрохали.

Рассказывая новости, Федор помог распрячь лошадей, дал им сена, а после, потоптавшись возле саней, на которых лежала пушнина, посоветовал:

– Давай-ка товар в подклет снесем, от греха подальше. Оно, может, случая и не будет, а оберечься не помешает.

Мешки унесли в подклет и заперли.

Тихон замешкался, разглядывая хозяйство Федора, продрог и заторопился в тепло. В длинных и темных сенях, не сразу оглядевшись со света, налетел на лавку, опрокинул ее и услышал, как пискнул тонкий голос, испуганно придавленной ладошкой. Пригляделся, а перед ним девка стоит. Ойкнула еще раз и порхнула мимо, открыла двери, чтобы в сенях светлее стало, со шлепком всплеснула ладонями. Надо же!

На лавке, оказывается, чашка стояла, кувыркнулась на пол, и по широким половицам густо рассыпалась крупнящая, перезрелая клюква.

– Топчутся тут, как медведи! То ли глаз нету! – строжилась девка, сердито поглядывая на Тихона, перебрасывая на спину толстую косу. Вот уж коса была! Рябенькая, будничная ленточка, вплетенная в нее, доставала до самых половиц. Рука у Тихона сама собой потянулась, чтобы такой богатый волос потрогать, но он вовремя одумался и руку с полдороги отдернул.

– Чего уперся, как столб вкопанный! Ягоду собирай! Шароборятся шатуны всякие! Один разор после них! – голосок у девки сердитый, а на крутых щеках круглятся ямочки – первый признак, что нрав веселый. Да и глаза теплые. На нижней губе прилипла шелушка от кедрового ореха, кругленькая, коричневая, как родинка.

Тихон присел на корточки, стал собирать клюкву в пригоршню. Мерзлые ягоды чуть слышно постукивали, а Тихон с девкой взглядывали друг на друга и тут же испуганно отворачивались.

– Меня Тихоном кличут, а тебя как зовут?

Девка в ответ ему сорочьей скороговоркой:

– Тебе со мной хлеба-соли не водить, так и звать не придется.

Ямочки на щеках круглятся, глаза по-прежнему теплые. Такие глаза, подумалось Тихону, в любую стынь отопреют.

И он не удержался, протянул руку, дотронулся до крутого плеча. Через теплую кофту, через шаленку словно огнем ожгло. Девка дернулась, отскочила и той же сорочьей скороговоркой отгаторила:

– Хоть ты и купец, а я тебе не товар, зря не шшупай, денег на куплю не хватит! Ягодку вон собирай... – голову опустила, утишила голос до шепота: – Ты не вздумай при тятя на меня пялиться – шибко он этого не любит. Осерчает и за ворота выставит. Хоть в ночь, хоть в полночь. И дружба с Кривошеиным не удержит.

Тут открылась дверь в сенцы, и Федор сердито крикнул:

– Марьяша! Ты где там? Пристыла?

– Здесь я, здесь, тятя! Бегу!

Выпрямилась, прижала к себе чашку с кровавой клюквой, и Тихон не удержался, еще раз протянул руку, бережно снял с пухлой губки кедровую шелушку. Положил ее в рот и с хрустом, в муку, перетер молодыми зубами. Смолой, кедром, тайгой дохнуло.

– Чо, сладко? – Марьяша рассмеялась. – А вдруг приворотная? Не боишься?

– Не-а...

Марьяша крутнулась на одном месте, коса взлетела и кончиком, рябенькой ленточкой, хлестнула Тихона по коленке. Он нагнулся, перехватить хотел, да куда там – уже двери состукали.

Лицо у Тихона горело огнем. Он вышел из сенок, зацепил

в пригоршню студеного снега, утерся и даже не заметил, как снег махом растаял, скатился горячими каплями под рукава и под воротник.

Верно говорят: симпатия не пожар, но уж коль загорелась – ни водой не загасить, ни землей, ни снегом.

Вечером все постояльцы уселись за длинный дощатый стол. Кроме Тихона с Кривошеиным были еще молодой бабюшка из Тобольска, ездивший крестить инородцев, почтовый чиновник и два мужика, добравшихся до Томска, чтобы подать жалобу по начальству.

– Житья от них нету, от варнаков, – наперебой, забыв про еду, рассказывали мужики. – Как завели этот порядок – старых каторжанцев на землю садить, так и началось светопредставление. Один станок держит, другой краденым торгует, а что коней уводят – про то и говорить неча. Сказывали, что шайка варначья, которая объявилась, с каторги утекла, а мы так мыслим – неправда. Из посельников она, – тут мужики притихли и заговорили вполголоса, один даже оглянулся через плечо, словно проверить хотел – не стоит ли кто сзади. – Непутевое это дело – варнаков рядом с нами селить, нет, непутевое.

– Вешать их надо – вот и весь сказ, – изрек чиновник и зевнул, забыв перекрестить рот. Зубы у него были белые, как грузди. – Вешать вдоль тракта и не снимать, чтоб другим неповадно было.

– Я слышал, команду воинскую направляют, – добавил ба-

тюшка. – Будем надеяться, что установит она спокойствие.

– Нам все равно к начальству надо, – говорили мужики. – Из рук в руки бумагу передать, как общество велело. Оно и денег нам на расходы собрало. Нам вертаться никак нельзя.

– Бог вам в помощь, – благословил батюшка. – Пусть вас все напасти минут.

– А ружья в деревне есть? – чиновник снова зевнул, показывая ядреные зубы, и, услышав в ответ, что есть, попенял жалобщикам: – Порешили бы одного-другого, остальные бы сами притихли.

– Да разве можно людей на смертоубийство толкать? – нахмурился батюшка.

– Можно, – отмахнулся чиновник. – По всем законам можно. Эти скоты одну силу понимают.

– В том-то и закавыка, что не можно! – не соглашались мужики. – Не притихнут оне. Народ аховый. Если уж порешить, так всех разом. Но мы-то люди крещены, неохота смертный грех на душу брать. Да и то сказать – одни сгинут, других пригонят...

Тихон в разговор не вникал. Слова в уши входили, а сути в памяти не оставляли. Да и какое дело ему до каторжанцев, когда летала по дому Марьяша, легкая на ногу, как ласточка на крыло. Подавала угощения, убирала грязную посуду, порхала от печки к столу и обратно – только кончик косы взметывался, едва поспевая за хозяйкой. Смотрела Марьяша, как и положено молодой девке при строгом родителе, под

ноги себе, в пол. На постояльцев не глядела. Но когда отбежала к печке, оказываясь за спиной у тяти, успевала на ходу вскинуть голову, и Тихон готовно перехватывал ее быстрый взгляд, едва не подсигивая на лавке от радости. Может, шелушка-то и впрямь заговоренной была? А иначе как объяснить, что за столь малый срок парень с ума съехал?

Молодость, говорят, глазами любит, глазами же и разговаривает. Так и вели Тихон с Марьяшей скорый, на лету, никем не услышанный разговор.

«Не смотри ты на меня, люди же здесь – стыдно». – «Хочу и смотрю, какое мне до людей дело. За погляд деньги не платят. Вон ты какая баская, как же на тебя не глядеть». – «Ишь ты! Хвати, у тебя таких баских на каждом постоялом дворе по дюжине!» – «Таких еще не видывал. Ты...» – «Чего сбился? Раз уж начал – договаривай. Я, дурочка, и поверю». – «Ты... люба ты мне, Марьяша, так люба, что земли под собой не чую, себя потерял. Я ли, не я ли – понять не могу. А врать сроду не врал. Мне раньше сны снились, вроде, девушка ко мне приходит. И вот вижу, что девушка, знаю, что она мне глянется, а лица не различу. И так досадно было. А тебя увидел и понял – это ты ко мне приходила». – «Мастер ты сказки сказывать...» – «Да разве это сказки, Марьяша! Я ведь тоже тебе во сне снился. Вспомни-ка, неужели не снился?» – «Ах...»

Вывернулся сковородник из рук, сковородка на ребро встала, покатила по шестку – на пол. Шарах! Картовница,

в вольном жару запеченная, сверху сметаной политая, – кусками во все стороны! За столом от грохота вздрогнули, один лишь чиновник не повел глазом – зевал. Федор через плечо покосился на оплошавшую дочку и велел подавать самовар. За чаем долго не засиделся. Поднялся из-за стола, кивнул Тихону:

– Ступай за мной, парень, я тебя на ночлег определяю.

У низенькой двери, ведущей в махонькую боковушку, Федор остановился и подтолкнул Тихона, пропуская вперед.

– Там свечка на полке и серянки рядом. А лучше не зажигай, а то дом ненароком спалишь. Лучше без огня спать, оно спокойней.

И дверь за Тихоном – хлоп! Защелку на пробой – звяк! И в пробой же дужку навесного замка вставил.

– Вот и ладно. Горячий ты, парень, не в меру, как я погляжу. Охолони.

Тихон нашарил на полу шубу и пролежал без сна до самого утра. Под утро на дворе разыгралась падера. Маленькое оконце боковушки быстро залепило снегом. «Господи! – безмолвно взмолился Тихон, слушая взвизги ветра. – Сделай так, чтобы ни зги, ни свету белого не видно. Пусть Кривошеин еще на день останется, непогодь переждать». Жарко просил, истово. Падера заревела в полную силу. С грохотом заходила по крыше, ударила в крепкие стены, и большой дом наполнился неясным гулом.

Отпирать Тихона пришел Кривошеин.

– Ты уж не серчай на хозяина. Он дочку один, без бабы растит. Вот и трясется над ей. Чо, поглянулась?

Тихон отвернулся и промолчал.

– А ехать нам нынче никак нельзя, – Кривошеин прислушался к падере. – С ног сбиват. Придется куковать до завтра. Ты чего засиял, как новый гривенник? Ох, гляди, Тишка. Федор – мужик суровый, он и оглоблей отмахнет, за ним не заржавеет. Я тебе на добро советую – выбрось из головы! Он уж ей жениха присмотрел.

Куда там! Советы кривошеинские – как козе уговоры, чтоб капусту не ела.

А на улице – белый мрак. Тихон выскочил из сеней во двор, присел, чтоб никто не видел, и давай руками размахивать, давай подгонять завируху: «Пуще мети, пуще! Шибче наяривай!» Радостно ему было в сплошной круговерти, в снегу, на ветру, который пронизывал его насквозь.

Марьяшу он подкараулил в сенях, где они вчера рассыпанную клюкву собирали. Загородил дорогу. Марьяша отпрянула в сторону.

– Да ты не бойся, я ж ничего худого... – протянул руку и дотронулся до толстой косы.

Марьяша еще раз отскочила.

– Да ты не бойся...

В ответ ему – не бойкой скороговоркой, а с глубоким и безнадежным вздохом:

– Себя я, Тихон, боюсь, а не тебя. Попала в силоч, и вы-

скакивать неохота. Ты ведь снился мне, узнала я тебя... Ой, всего не расскажешь! Больше не подходи, погоди до вечера. Видишь, уже и себя не боюсь, осмелела... – она скользнула к двери, взялась за ручку, но обернулась: – Шелушка-то и впрямь заговоренная, на присуху, кре-е-пко заговоренная. А ты и попался, до самой старости будешь присушенный. Не боишься?

– Я согласный, до старости.

День прошел беспamięтно, мутно. Вечером Федор снова отвел постояльца в боковушку, запер ее снаружи, потоптался у двери и объявил:

– Утречком завтра поедете. Падера не шибко зла, не заблудитесь. А ты, парень, на носу заруби: будет дорога в наши края, к дому моему не причаливай. И тебе спокойней, и мне не в тягость.

Тихон слушал Федора и думал: «Ну уж нет, хоть заплот поставь, хоть до неба его выведи – все равно умыкну Марьяшу! Тайком обвенчаемся, бухнемся после в ноги, прощенья попросим – простишь, никуда не денешься!»

В боковушке он улегся на шубу, закрыл глаза и нырнул в крепкий, молодой сон. Уснул – как пропал.

Виделась ему церковь на высоком бугре, над церковью горел золоченый крест. Тихон задрал голову, уронил шапку, глядя на маковку, и вдруг почуял, что ему хочется взлететь – туда, к небу. Тянулся на носках, устремляясь вверх, но земля держала его и не отпускала. Тогда он пошел прямо к церк-

ви, целясь на паперть. Церковь же беззвучно от него уплывала. Он – к ней, а она – к окоему. Вытягивалась, становилась выше, упиралась золоченым крестом прямо в середину бездонного пространства. Тихон побежал, пытаясь поспеть за церковью, и вдруг увидел, что на паперти стоит Марьяша. Она что-то шептала, а он на бегу не мог понять – что. Тогда остановился и услышал: «Встану я, благословясь, выйду, перекрестясь, из избы в двери, из ворот в ворота, в чистое поле, в широкое раздолье, под восток, под восточную сторону, под красное солнце, под светел месяц, под часты звезды, под черны облака. Пойду к синей реке, а у синей реки стоит церковь, а в этой церкви престол, за тем престолом сидит матушка Пресвятая Богородица и батюшка истинный Христос. Подойду поближе, поклонюсь пониже, поклонюсь и благословлюсь: «Прошу и молю тебя, матушка Пресвятая Богородица и батюшка истинный Христос, как я, раба Божья Мария, не могу ни жить, ни быть без языка, так и раб Тихон пусть не может ни жить без меня, ни быть, ни спать, ни лежать, ни пить, ни есть. Как мой язык от меня не уйдет, так и он, раб Тихон, никуда не уйдет, никого не найдет. Как от меня пятки мои не отстают, так от меня раб Тихон не отстанет. А еще прошу и молю тебя, матушка Пресвятая Богородица и батюшка истинный Христос, стряхните, смахните нетленную рукою с раба Тихона уроки, призоры, страхи, переполохи, щепотишша, колготишша, костоломишша, худое худобище, рассыпной свет-рассыпище и двенадцать родим-

цев с родимчиком от встречного, от поперечного, от чистого, от поганого, от злого, от лихого человека, от девки-пустоволоски, от бабы-долговолоски, от старой старухи, от молодой молодухи. Будьте мои слова истольна-исполнены, которые договорены, которы недоговорены. Заднее на заде, переднее на переди, крепки и лепки, тверже синего укладу, заморско-го булату».

И оборвался голос, канул последним звуком, словно капля дождя в реку. Следа не осталось. Тихон снова побежал, еще быстрее, но споткнулся на ровном месте, упал. Вскочил, а Марьяши на паперти уже нет. Церковь же стояла крепко, не двигалась больше к окоему, венчала высокий бугор, соединяя его с небом. И оттуда, из-под самого неба, с немыслимой высоты соскользнул едва различимый голос Марьяши: «Осолит разлуку нашу горсть сырой земли...»

«Да какая разлука?!» – Тихон вскинулся и проснулся.

Ласковая, трепетная ладонь невесомо скользила по его волосам. Он поднял руку, нащупал в темноте эту мягкую ладонь и не отпускал ее, уже зная – чья она.

Марьяша стояла на коленях в его изголовье, и Тихон тоже встал перед ней на колени. Глаза обвыклись, и он различил белеющую рубаху, косу, переброшенную на грудь. Протянул руки, но Марьяша откачнулась и остановила его:

– Погоди, не хочу в потемках, видеть тебя хочу.

Вскочила, нашарила на полке свечу и серянки. Пламя растолкало темноту по углам боковушки, и теперь Марьяша и

Тихон смотрели друг на друга через огонь. Он колебался от их дыхания, качался из стороны в сторону, но не гас. На стенах шевелились зыбкие тени. Свеча плакала, восковые слезы капали на руки и застывали.

– Я в прошлом годе гадала, – зашептала Марьяша, – воск наливала на воду. Он застыл, и церковь получилась. Краси-и-вая – с крестами, со звонницей. Только уж очень она дальняя, в округе такой нету. Я с тятей езживала, видела в ближних деревнях – нету такой. И в Томском, говорят, нету, я спрашивала. А загадывала – в какой церкви венчаться буду.

– И мне церковь снилась. Может, та самая? А еще слышал, как ты заговор говорила. Ты его здесь говорила?

– Зачем тебе знать? Всякий сон не разгадаешь, – Марьяша вздохнула. – Я тебя слышу. Ты думаешь, а я слышу. Вчера еще, в сенках, услышала. Потому и доверилась, что в тебе потайных мыслей нету. Я давно знала – услышу другого, как саму себя, значит, судьба. Вот и явился.

– Поедем, обвенчаемся на стороне. Церковь-то, видно, одна у нас, только дальняя, вот и поищем – авось найдем.

– Нет, Тихон, беда не в дальности. Беда, что нашей церкви еще на земле нет. Не поставили ее. Боюсь – и венчаться нам не придется.

– Ты что, Марьяша...

– Я знаю. А ты не думай, не бери на ум. И еще знаю – меня нигде здесь не будет, а я все равно буду с тобой, рядышком.

– Не пойму твоих слов, говори яснее.

– Я и сама не понимаю, а знаю, что будет. Да и речь не о том вести надо, совсем не надо речей вести. Я вот нагляделась на тебя, славно так нагляделась, пора и свечу гасить.

Она дунула, пламя трепетно дрогнуло, оборвалось в темноту. Руки, пахнущие воском, прислонились к щекам Тихона, соскользнули, обжигая шею, на плечи.

– Косу... косу расплети мне... – издалека, из глубокой темени, смутно дошел до Тихона едва различимый шепот. Мягкая коса распалась послушно, рассыпалась, как развязанный сноп. Но Тихон не успел расплести ее до конца.

В сенях загремело опрокинутое ведро. Протопали быстрые шаги. Глухие голоса, перебивая друг друга, прокатились в дом. Срывая голос, страшно закричал Федор.

– Ой, тятя! Господи, тятя! – Марьяша выскочила из боковушки и успела сунуть в пробой дужку замка.

Тихон бросился за ней следом, ударился плечом в дверь, но дверь не подалась. В доме бабахнули выстрелы, поднялась суета, слышно было, как что-то с треском выламывают. Скоро глухие голоса прокатились еще раз через сени на улицу. Во дворе заржали кони, полохнул пронзительный свист. И никаких иных звуков, кроме ровного, тугого гула падееры. Напрасно Тихон прислушивался, напрасно колотился в дверь и кричал. Никто к боковушке не подходил.

Выбрался он лишь утром, когда всюю рассвело. Вытащил из стены кованый гвоздь, расковырял им дыру в двери и, разодрав до крови руку, достал до замка. Вышел на волю,

увидел настежь распахнутые двери в дом и больше не мог сделать ни единого шага – ноги отказывали. Тогда опустился на колени, пополз на четвереньках. Первым, у перевернутой лавки, увидел Федора. Тот лежал лицом вниз, протянув вперед правую руку с растопыренными пальцами, будто и мертвый пытался дотянуться до топора, который стоял у печки. Два мужика и батюшка упали, подрезанные пулями, возле глухой стены, где стоял широкий топчан. Кривошеин лежал на краешке топчана, сунув руку под голову, подтянув к животу колени. Если бы не кровь на рубахе, так бы и подумалось – спит.

Тихон прополз дальше, в горницу. Тут он пересилил себя и поднялся на ноги. Посреди горницы, раскинув руки, похожая в белой рубахе на белый крест, – Марьяша. А на отлете, на холодном полу – коса, расплетенная до половины.

«Осолит разлуку нашу горсть сырой земли...»

А белозубого чиновника в доме нигде не было.

Проснулась Феклуша поздно, потянулась, не открывая глаз, и сразу же улыбнулась – хлебом пахло в нижней избе, где они спали с отцом на лавке. Такой сладкий дух стоял, что она сглотнула слюнку. Давно уж так не просыпалась, от запаха хлеба, с тех пор как тронулись из родной деревни в дорогу. Помнилось нечаянно, что откроет глаза – и окажется в родительском доме, увидит братчиков своих и матушку. Поднялась, а изба чужая, и батюшки нет на лавке – лежит в углу смотанная дерюжка. Феклуша аж ойкнула – где он?

– Да ты не пужайся, девка. До свету поднялся, топором побежал робить. Нужда долго спать не дает, а твое дело молодое, девичье, я и будить не стала. Тебя как кличут-то?

Степановна, опершись на ухват, стояла возле печки, и ее дряблые щеки розовели от жара. Передник был измазан в муке, а на лбу – полоска сажи.

– Феклуша я.

– А я Степановна. Ране-то Аннушкой была, а теперь вот Степановна. И сказ весь. Умывайся, дочка, садись чай пить.

За чаем Степановна пристрастно взялась расспрашивать Феклушу – что? да откуда? – качала головой, слушая невеселый рассказ, и даже всплакнула, узнав, что матушка Феклуши померла в телеге, никого не обеспокоив и не подав голоса. Мелко перекрестилась пухлой рукой, примолкла, но

ненадолго. Она подолгу не могла молчать. Даже если одна оставалась, все равно разговаривала: с ухватами, со сковородниками, с квашней, с кадушками. То им чего-нибудь рассказывала, то строжилась.

– У нас новость нынче, – сообщила Степановна. – Гундосый, приказчик наш, оплошал. С Васькой, с работником, на ломке ломались, на гусиной. Это у нас игра така – косточку разломают, а после помнить надо, чего от спорщика ни примешь в руки, сказывай: «Беру и помню». Два года прошло, а они памятьливы, никак друг дружку обмануть не могли. А седни с утра живот у Гундосого схватило, он и попросил Ваську – квасу, мол, принеси. Тот принес. Подал, а Гундосый молчит. Васька и раскланялся – бери да помни, Никодим Иваныч. А спорили на сапоги. Гундосому жалко, он и упорствует: неправильно, говорит, раз я в недомогании нахожусь. А сам квас дует, дует и дует, будто квас виноват. Так он к вечеру весь лагушок выхлебал... Новый надо будет...

Тут Степановна оборвала плавную говорю, вздрогнула необъятными телесами. Прислушалась. Вверху непонятный шум. И вдруг...

По лестнице, которая вела в нижнюю избу, кубарем скатился Васька. Следом за ним, пристукивая на ступеньках, прилетел и хряпнулся об пол лагушок с квасом. Днище вылетело, квас плеснулся, растекаясь на полу, а вместе с ним выехала на половицу дохлая кошка с оскаленными зубами.

Васька отскочил в дальний угол, скрючился там и, хихи-

кая, шепнул Степановне:

– Ой, чо будет! Держите меня семеро!

А вниз уже спускался Тихон Трофимыч. Брови – встык, борода дергается. Рот ладонью зажал и икает. Отвесил оплечу Ваське, но изнутри его дернуло и он, припечатав ко рту ладонь, махом выскочил на улицу. Из распахнутой настежь двери донеслось утробное рыканье.

Васька выпрыгнул из угла, сунул кошку в лагушок, лагушок – в охапку, и – наверх. Взлетел – ступеньки не успели скрипнуть.

– Тьфу ты! Прости меня, грешную! – Степановна передернулась и полезла искать вехоть. – Совсем сдурел, лихо-манец! Не иначе повыкамаривать хотел над Гундосым из-за сапог-то, а тут, видишь, сами Тихон Трофимыч отпить изволили. Моя воля, я бы этого Ваську каждую неделю порола. Как в баню идти, так бы и порола, пока не обмаратся. После обмылся бы – и до другой субботы. Глядишь, на ум бы наставился, – не переставая ворчать, Степановна подтерла пол, выжала вехоть и прикрыла дверь. Снова села за стол и предупредила Феклушу: – Ты его, девка, бойся, Ваську нашего. Он у нас бес, а не парень. Кудрями натрясет, языком наметлет, девки рассолодятся, он и подшибат их, как коршун.

Феклуше бы сидеть чинно-скромно, как и положено в чужом доме, слушать старого человека да кивать согласно, а ее смех разобрал. Хохочет и остановиться не может.

– Эк тебя смехотунчик-то щекотит, – посетовала Степа-

новна и сама засмеялась, заколыхала грудью.

Дверь скрипнула, они обе осеклись. Тихон Трофимыч перевалился через порог, ухватился для упора рукой за стену. Перевел дух, утерся полотенцем, которое подала ему Степановна, и сел за стол.

– Дай-ка мне чаю.

За чаем успокоился, громко швыркал, искоса поглядывая на Феклушу. Та притихла, не зная, куда девать руки. Чувала, что купец-хозяин ее разглядывает, смущалась и думала – неспроста. К чему бы это? А Тихон Трофимович, вспоминая прошедшую ночь, не мог оторвать от Феклуши взгляда и не переставал удивляться: «Неужели такие похожие на свете случаются? Только шелушки на губе не хватает, а так – один к одному, даже коса до полу. Кто ее расплетать будет?» Дивясь и тревожась одновременно, Дюжев подумал, что жаль ему станет, если девка уйдет отсюда. Не хотел он, чтобы она уходила. Может, оставить? А почему бы и нет? Подумано – сказано:

– Степановна, если помощницу тебе найдем, как ты на это дело? Не против?

Степановна стрельнула глазками на хозяина, на Феклушу, сообразила, что за словами кроется, и не замешкалась с ответом:

– Дело-то доброе, Тихон Трофимыч. Старею я, ране на одной пятке вертелась, а теперь на ухват обопрусь – все не успеваю. В самый раз бы помощница мне пришлась.

Ну, а коль сказано – сразу и сделано.

– Пойдешь? – спросил Тихон Трофимович и замер, испугавшись, что Феклуша откажется.

– Не знаю, – растерялась Феклуша. – У бабушки надо спросить.

– Беги спросись. И обратно – с ответом. Скажи, что я не обижу. Ваську на дворе увидишь, крикни, чтобы сюда пришел. Я ему кудри-то прорежу. Додумался, чертов сын. Слышь, Степановна, может, постегать его? А? Гундосый-то раз пять подходил квас пить, а кошка уж в лагушке была. Ну, Васька, за сапоги отыгрался! И как Гундосый не учуял, проглот этакий! – Тихон Трофимович покачал головой и неожиданно хохотнул. – С греха с вами сгоришь!

Феклуша выбежала на крыльцо и прижмурилась. Блескущее солнце стояло над промерзлой округой, а снег готовно отзывался на любой, самый легкий шаг. Благодать! Все прошлые горести как рукой сняло.

Васька откидывал снег от ворот и был, как всегда, без шапки. Кудри мотались в разные стороны, на глазах белели от мороза. Работал Васька споро, лопата в руках только помелькивала.

– Ступай, хозяин тебя зовет!

Васька лениво повернулся на голос Феклуши – тебе-то еще чего?

– Хозяин, говорю, зовет! Кудри подрезать станет!

– Ну ты! Зачирикала... Воткну в сугроб головой – будешь

знать.

Он присел и растопырил руки, словно собирался поймать Феклушу. Куда там! Моргнуть не успел, а Феклуша мимо него – стрелой! Вылетела за ворота, не удержалась и язык показала:

– Э-э-э, кошкодав полорукий!

Вахрамеев, узнав про кошку в квасе, совсем слег. Охал и стонал, словно был при смерти. Степановна заварила травок и принялась его отпаивать, а Дюжев отправился в лавку и встал за прилавок. Продавал товар, подолгу беседовал с мужиками, а на душе лежала, как кусок льда, холодящая тревога. Так в сильную грозу бывает: полохнет молния, сожмешься и ждешь грома. Знаешь, что он грянет, а все равно пугаешься, когда упадет с неба грохочущий гул. Ночной сон для Дюжева был, как молния, теперь он ждал грома.

И не ошибся.

Гром грянул ночью. Прибежал Васька, разбудил Дюжева, засветил лампу, и тот увидел в желтом, неверно шатающемся свете бородатого мужика, словно обрызганного раздавленной клюквой. На голове темнела грязная тряпица, оторванная вгорячах от подола нижней рубахи. Дюжев пригляделся и узнал Ивана Зулина, ямщика из Огневой Заимки.

– Ты чего тут? Ты ж с обозом...

– Расхлестали обоз, Тихон Трофимыч, – варнаки расхлестали, подчистую. Попить бы мне да умыться. Кровь... – он потрогал осторожно лицо, сжамкал в ладони русую бороду. – Своя, и чужой набрызгало... Смыть бы...

Дюжев кивнул Ваське, тот притащил в деревянном ведре воды. Иван осторожно размотал тряпицу на голове, крикнул,

отдирая ее от подсохшей на лбу раны, бормотнул:

– Кистенем достал, такой варнак ловкий, прямо бесом крутится, нехватишь...

Опустился на колени перед ведром, попил через край, хлюпая губами, как лошадь, и стал умываться. Вода в ведре побурела. Второпях Васька вывернул тесьму в лампе чуть не на три пальца, и узкое горлышко стекла коптило, как печная труба. Плевочки сажи поднимались к потолку. Запахло керосином.

– Уверни лампу, а то дом спалишь, – Дюжев оделся, присел на табуретку и поморщился – сердце трепыхалось птенчиком у самого горла. А во рту горько было, словно полыни наелся. – Дай-ка вина и Гундосого кликни. Садись, Иван, рассказывай.

Пламя в лампе утихомирилось, свет выровнялся, и тени, метавшиеся на стенах, замерли. Васька выскочил из спаленки, вернулся, поставил на стол зеленый графинчик и ловко замотал Ивану голову чистой тряпицей. Тот ощупал повязку, облегченно вздохнул и тихо выговорил:

– Слава богу, живой, однако... – выпил вина, передернулся широченными плечами, зажмурился и тут же открыл глаза. – Надо ж, как наяву... Верст десять до Шадры оставалось, перед нами томский обоз шел, не знаю чей, тоже на ярманку. Стали мы в ложок спускаться, тут они и насыпались. На конях, вершни, с десятков, однако, было. И с ружьями. После уж разглядел, что с ружьями, а поначалу бастрок сгреб с во-

за, давай отмахиваться. Своим кричу – в лес бегите! Они побежали. Варнаки их не догоняют, на меня навалились, стрелять, правда, не стреляли, но помяли крепко. Один особенно – махонький, а верткий. Бе-е-с... Чую, смертушкой пахнет. Держись, думаю, Ванюха. Половина-то бастрыка в руках еще, я отмахивался. А тут конный. Сшиб я его, а сам в седло. Добрый конишко у варнака – унес. Стрельнули вдогонку, да мимо. Ушел я. А само главное, Тихон Трофимыч, они твой обоз ждали, другой им не нужен был. Когда налетели, слышал, что крикнули – дюжевский, верно. И опять же – тот, который впереди шел, не тронули, а на наш насыпались...

Заспанно шурясь, вошел снулый Вахрамеев. Прислонился спиной к косяку, потрогал на носу бородавку и почесал одну о другую босые ноги.

– Сколько у нас товару в обозе было? – спросил Дюжев.

– Чаю восемь пудов, китайки да сахару... – Вахрамеев говорил, перечисляя по памяти товары и цены на них, но Дюжев его почти не слушал. И так было ясно – убыток немалый.

– Может, слетать туда? – высунулся Васька. – Глянуть, авось не все забрали.

– Держи карман шире! – усмехнулся Дюжев. Но, подумав, согласился: – Надо съездить. Иди закладывай тройку.

Под утро, когда непроглядная темнота стала синеть, Дюжев, Иван Зулин и Васька выехали из Огневой Заимки. Добрались до ложка, где был разбит обоз, но нашли там только переломленный посередине бастрык, чью-то плетку и обро-

ненный с головы треух. Подчистую обоз взяли.

Кто?

Всю обратную дорогу до деревни Дюжев не проронил ни слова.

И той же самой ночью, далеко от Огневой Заимки...

...Спит острог. Четыре деревянные казармы с окнами, забранными коваными решетками, приземисто чернеют на снегу в таежном распадке. Луна стоит высоко, и тени от казарм широкие, длинные. Над крышами ползут белые, клубящиеся дымы – печи свои каторжанцы топят на совесть.

В одной из казарм идет на майдане горячая игра в карты. Горят две сальные свечи, поставленные в железные плошки. От духоты, вони, белесого пара, слоисто плывущего под потолком, свечи то и дело гаснут, но их тут же зажигают, и картежники цепко оглядывают друг друга и зашмыганные, пухлые карты, похожие на оладьи, не смухлевал ли кто.

Удача сегодня валом одному валит. Тихий, молодой арестант почесывает наполовину обритую голову, пожимает плечами и смирно улыбается, сам удивляясь: откуда, с какого рожна такой лихой фарт прет? И тут же, выкинув последнего козырного короля, тянет под завистливые взгляды рядом сидящих все, что было на кону.

– Эх, скоко вина взять можно, – шепчет кто-то со вздохом за спиной парня. Сам же парень никакой радости не выказывает, молчит, улыбается, словно хочет сказать: «Извиняйте уж, братцы, везет мне, сам не знаю как...»

В зените горячей игры засипел от двери придушенный го-

лос:

– Стрема!

Пух! Свечи погасли. Картежники прошуршали, как тараканы, приткнулись на своих местах, замерли.

Оказывается, смотритель со стражниками отправился делать ночной обход. Зоркий глаз стоящего на шухере углядел желтые пятна фонарей, подплывающих к казарме, и подал знак.

Улыбчивый парень скользнул на нары, устроился удобней, чтобы кандалы не мешали, и тихонько тронул соседа, такого же наполовину обритого, но намного старше, уже седого.

– Слышь, Зубый, теперь хватит. И на змейку хватит, и на одежду. Ты научи меня, я отплачу.

– Мне платы не надо ни копейки, – Седой заворочался под вонючим тряпьем и звякнул кандалами. – Денег я тебе сам малехо суну. Змейку завтра достанем. Пили осторожно, не дергай. Хрустнет инструмент – в браслетах останешься. В их далеко не убежишь. Выберешься – сразу к деревне правь, Омелькино называется. С реки подходи, там изба на отшибе. Дождись ночи и стучи в ставень вот так, легонько. Скажешь – Зубый меня прислал, привет от его принес. А больше ничего не говори. Пересиди, дождись, когда стража утихнет, тогда и трогайся.

Седой замолчал, зябко поежился под тряпьем, и кандалы снова звякнули. На другом конце нар кто-то заорал спросонья и поперхнулся – видно, портянку в рот сунули. Своих

страхов во сне не оберешься, а тут чужие слушать... Не желаем.

– Теперь главное мотай на ус, – снова заговорил седой. – Дюжева надо в Томске искать. Если там нету, значит, на заимке. Огнева Заимка называется. Если и там нету, значит, в отъезде. Тогда жди. Крутись-вертись, как знаешь, а жди. И обереги его, как сумеешь. А уговор наш помни.

Заскрипели двери, из морозного дыма, как из пены, вышел смотритель, за ним стражники с фонарями. Все, кто лежал на нарах, притворились спящими. Такой храп стоял, что уши закладывало. Порядок, полный порядок, какому и надлежит царить в казенном доме. Смотритель покивал, зная по опыту старого служаки, что порядок и смирность каторжанцев – это одна видимость. Ну да не им заведено. Внешне тихо – и ладно.

Едва лишь закрылись двери за смотрителем и стражниками – картежники тут же зажгли свечи и на майдане по новой, еще горячее, закипела прерванная игра. Улыбчивый парень сидел на прежнем месте, и картежный фарт по-прежнему валил ему прямо в руки.

Вечером, в потемках уже, Роман стал спотыкаться на ровном месте и выронил из рук топор. Хорошо, что не на ногу, топор так отточен – хоть волос им секи. «Шабашить пора». Все. До края уморился. Присел на корточки возле сруба, утихомирил руки, дрожащие от натуги, посчитал пластины – восемь штук. Пожалуй, хватит. Закроет завтра потолок, прорубит двери, окна, полы настелет – хоть и много оставалось работы, но она уж не страшной была. А тут еще и с Феклушей ладно устроилось, купец ее к себе в работницы взял – как не порадоваться? Не зря они здесь остановились, не зря.

– А я тебе что говорила, касатик? По-моему вышло, иль как?

Роман поднял глаза, а перед ним старушка. Та самая, что на постоялом дворе объявилась. Согнулась в три погибели, опираясь на палку, горбом в небо целится. Глаза на скукоженном личике острые, цепкие. И откуда она тут взялась?

– Зачем тебе знать, касатик, откуда я? Пришла и пришла. Значит, нужда есть. Пойдем-ка со мной.

Повернулась и мелким, быстрым шагом пошла вперед, сторбившись еще сильнее, не оглядываясь назад. Нетронутый снег под ней не проваливался, старушка скользила по нему, невесомая, словно пушинка. Роман поспешил за ней и даже не раздумывал, куда она его ведет. Просто шел и шел.

Сбил на затылок шапку, смахнул пот со лба и вскинул глаза. Батюшки! Он со старушкой уже на бугре стоит, где они с Феклушей в памятную ночь отогрелись. Впереди – речка, накрытая снегом, по правую руку – деревня, а позади – просторная поскотина и тайга. Над самой головой луна выстыла.

– Смотри, касатик, хорошенько. Точно такую же поставишь. Люди пособят, а ты поставишь.

«О чем она, кого ставить?» – хотел спросить у старушки, но не успел. Язык отнялся. От удивления Роман попятился и замер.

А перед ним, прямо на глазах, из-под земли, из холодного снега, поднялась и встала на бугре церковь, сотканная из белого трепещущего света. Поставлена она была «кораблем»: прямо над притвором взметывалась вверх колокольня, увенчанная горящим крестом; рублена колокольня была в восьмерик, и все восемь граней тихо светились, дальше – двускатная крыша, и из нее, как цветок папоротника, никогда и никем не виданный, – луковичная главка на тонкой и трепетной шейке; и главка, и шейка забраны были лемехом, серебрились; казалось, что они искрят в воздухе. Стояла церковь на высоком подклете, и он, словно корабельное днище, легко держал на себе всю высоту и мощь поднебесного храма.

Тихо-тихо звонили колокола.

Трепещущий свет не был преградой человеческому взгляду, и виделось, как горит золото иконостаса, теплятся на круглых аналоях свечи. Медленно, как для выхода иерея, от-

крывались резные Царские Врата, увенчанные иконой искусного письма, а на иконе – Тайная Вечеря. Справа – печальный лик Спаса, а слева – Богородица, всемогущая и всемилостивейшая.

Колокола смолкли. Проплыли по-над землей последние звоны, истратили отпущенную им силу, смолкли. Белый свет истончился, поредел, разорвался на многие части, исчез бесследно.

Тот же ровный, нетронутый снег лежал перед глазами, холодно отсвечивал под луной.

«Что это? Что за церковь?» – Роман обернулся, но старушки уже не было. Даже следов на снегу от нее не осталось.

В маленькой светелке духовито пахло растопленным воском, ладаном, сухими травами. Печка еще не остыла с вечера и дышала теплом. За окном, злая к утру, хряпала стужа, стояла промерзлая, от земли до неба, густая темень. В светелке слабенький огонек лампадки, и видно: на широкой божнице в правом переднем углу – темные от старости иконы. В середине самая большая – Николая Чудотворца. Пламя покачивалось, и на суровом лице мужицкого заступника шевелились золотистые отблески. Устинья Климовна Зулина, стоя на коленях, жарко молилась за своих сыновей: Ивана, Федора, Павла и Митеньку, младшенького, самого любимого. Отбивала низкие поклоны, доставая до половицы, выскобленной березовым голиком, а сама летела мыслями по темному тракту мимо не проснувшихся еще деревень, спускалась в гиблые лога, поднималась на взгорки, открытые ветру. Летела, отыскивая своих сыновей, – где они теперь с новым дюжевским обозом, который надо пригнать в Шадру к началу Никольской ярмарки? Сыты ли, здоровы? Не караулят ли их варнаки? Ответа ей не было, и молилась она еще истовей:

– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас...

Боязно было отправлять в этот раз сыновей в дорогу – а ну как снова на дюжевское добро навалятся? Но отправила. Ти-

хон Трофимыч сам приходил ее упрашивать, не чинясь гордостью. Снял шапку, поклонился хозяйке в пояс при всех домашних, сказал: «Выручай, Устинья Климовна, вся торговля моя горит на ярмарке, одна надежда на Зулиных». Зулины, все четверо, сидели рядом на лавке, смотрели на маменьку. Были они согласны, но про это и слова никто не молвил. Первое и самое главное слово – у маменьки. Порядок такой завелся сыздавна и еще ни разу не нарушался.

Долго раздумывала Устинья Климовна. Отказать? А как тогда с молвой быть, что Зулины – самые лучшие ямщики в Огневой Заимке? Еще и другое помнилось, никогда не забываясь, – кто ей помог, когда она овдовела и осталась с четырьмя ребятишками, хоть и маленькими к тому времени? Да он же и помог, Тихон Трофимыч, выручил деньгами. А с обратной стороны – сердце материнское рассуждения не знает, болит. Но сердце свое Устинья Климовна скрепила. Благословив, отправила сыновей.

Теперь металась, не находя себе места, просыпалась на исходе ночи и сразу вставала на молитву.

– И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отбила последний поклон и легко поднялась, по-молодому выпрямив спину. Поправила низко повязанный черный платок и вышла из светелки – новый день нарождался, и надо было браться за вожжи большого хозяйства. Держали Зулины двенадцать ездовых лошадей, десять дойных коров, имели свою пашню, гоняли ямщину, а еще уступали в нижней

избе две комнаты для проезжих. И за всем догляд нужен.

Первым делом Устинья Климовна разбудила своих трех снох. (Младшенький Митенька еще в парнях ходил.) Каждой дала наказ – какую работу делать. И хотя снохи сами знали, где им руки прикладывать, все равно почтительно слушали, согласно кивали – порядок такой. А дом, как известно, на порядке держится и на строгости.

Загудел огонь в двух больших печах, запахло квашней, которая поднялась вовремя, захлопали двери, забрякал поддонник, и на дворе, почуяв хозяйку, нетерпеливо замычали коровы.

Дом ожил.

С квашней управлялась Глафира, старшая сноха, жена Ивана. Бабенка была с норовом, но воли ей Устинья Климовна пока не давала – молодая еще. Так и говорила: молода пока, девка. «Девке» под сорок подкатывало, своих ребятишек пятеро, а все равно – молода. У печки, у жаркого пламени, Глафира покраснелась, а пока хлеба выкатала, то и вспотела. Круглое лицо мелким бисером обметало. Дух перевести некогда. А Устинья Климовна тут как тут подоспела с наказом:

– Хлеб-то в печку посадишь, муки после просей. Если ребята подьдут, блинов сразу напекем. Главно, чтоб мука готова стояла.

Господи, с хлебами управиться не успела, а свекровь муку на блины сеять заставляет. Что теперь, наполовину разо-

рваться? Осерчала Глафира, неудовольствие нечаянно сорвалось с языка:

– Вы, маменька, вечно торопитесь, как настегана. Вот придут, тогда и насеем. А невтерпеж – сами сито берите.

Устинья Климовна, услышав такие слова, выструнилась, поджала и без того узкие, бесцветные губы. В темном платке, в домотканой поневе, тоже темного цвета, стала она сразу суровой и неприступной. Мать-игуменья, да и только. Глянула из-под платка на сноху – от такой поглядки лучину зажигать можно! – кротко согласилась:

– Ну дак ладно. Иван Авдеич придет, так и передам ему, как ты сказывала.

Повернулась и прямехоньким ходом к себе в светелку.

Руками, в тесте измазанными, Глафира схватилась за голову. «Ой, горюшко мне, чего ж я брякнула!» Подхватилась и бегом, следом за свекровью, в светелку. Бухнулась там на колени и заголосила:

– Маменька родименька, прости меня, дуру небитую, от глупости сказала! Никогда больше перечить не буду, только не передавай слова мои Ивану Авдеичу, он ить меня зашибет зараз! Ой, пожалей меня, маменька!

По-настоящему, взаправду голосила Глафира, потому как доподлинно знала: за поперешное слово, сказанное маменьке, наказанье в зулинском доме неминуемо.

Устинья Климовна сидела на жесткой своей лежанке, сложив на коленях руки, смотрела, не размыкая узких, поджа-

тых губ, поверх снохи, в стену.

Глафира голосила, не утихая.

– Будет базлать-то, – соизволила, наконец, разомкнуть губы Устинья Климовна. – Всю деревню подымешь. Ступай, хлеб скоро в печку садить. И сито достань мне.

– Да како сито, како сито, маменька, сама я мучку просею! – пуще прежнего заголосила Глафира, угадывая, что гроза миновала.

– Сказала тебе – достань. Заодно в кладовке лари проверю, за вами недогляди – по миру пустите. Иди, иди...

Оставшись одна, Устинья Климовна долго сидела, не шелохнувшись, будто уснула. Прикрыв глаза, думала она про сыновей, про снох, про внуков – двенадцать их у нее. Думала и просила Бога, чтобы наставил их всех на путь истинный, не дал бы им сотворить что-нибудь непотребное. Еще желала она, чтобы после смерти ее зулинский дом не распался, чтобы сыновья и снохи никогда между собой не ругались, чтобы все труды, на которые она жизнь положила, не ушли прахом, а, наоборот, приумножились.

Какие еще могут быть думы у матери?

Но додумать их до конца не дали.

Дверь в светелку открылась, и Глафира, виновато помаргивая, позвала:

– Маменька, а маменька! Новость у нас – Митенька приехал!

– Слава Господи!

Поднялась с лежанки и заторопилась в нижнюю избу. По пути досадовала: «А муку так и не просеяла, вертихвостка!»

Пухлые щеки Митеньки, настеганные морозным ветром, еще горели крутым румянцем. На жиденькой парнишечьей бороденке, курчаво опушившей подбородок, блестели капли от растаявшего снега. Нос курнос, уши, похожие на пельмени, торчали на оттопырку. Прямо надо сказать – не шибко картинный красавец. Но столько у него было в лице приветливости и добродушия, что не хочешь, а засмотришься. Устинья Климовна глаз не отводила. Даже про блины забыла. А Митенька уплетал, не глядя, все, что перед ним на стол ставили, смахивал пот с курнопелистого носа и между делом успевал рассказывать:

– Добро, маменька, доехали. Тракт укатали, хоть на боку катись. Кони, правда, приморились, да не беда... Седни в Шадре будут, а меня Иван Авдеич вперед послал, чтобы Дюжеву доложить. Я на кошевке, быстро. В Шадре седок подвернулся, к Дюжеву тоже, по торговой надобности. Я его в нижнюю избу отвел, покормить бы с дороги...

– Покормим, покормим... – подала голос Зинаида, младшая сноха, жена Павла. – Я уж самовар ему отнесла.

– Все ли здоровы? Сами когда явятся? – спрашивала Устинья Климовна, но больше уже для порядка, как заведено, потому что душа ее успокоилась: стороной напасть пронесло, вот и ладно.

– К вечеру явятся. Живы-здоровы, маменька, чего и тебе желают. Кланяться велели.

Митенька наелся, чаю попил и осоловел – подремать бы. Ан нет. После, после – жизнь впереди долгая, будет время вылежаться. Выскочил из-за стола, шапку на голову, шубу в руки, побежал, но вспомнил про гостинцы племянникам и племянницам. Надо же – из ума выскочило. Вытянул мешок из-под лавки, развязал завязки, вывалил на стол фигурные пряники. Чего только не настряпали из сладкого теста гораздые на выдумку томские пекари: тут тебе и медведь, и лошади, и лиса с большущим хвостом... – всякой твари по паре. Проснутся ребятишки – вот радости будет.

А они легки на помине. Самый главный раностав, Гаврюшка, слез с полатей, помигал заспанными глазами, подернул порточки и забыл, по какому важному делу он на улицу собирался. Затопал от восторга босыми ногами по полу, заверещал:

– Митенька приехал! Митенька приехал!

Посыпались, как горох, с полатей. Кричат, визжат. Митеньку обступили, пряники расхватили, требуют, чтобы сказку рассказывал. Митенька хохочет, щекочет их, а они еще больше наддают гаму. Глафира, Зинаида и Пелагея, средняя сноха, жена Федора, улыбаются, глядят со стороны и не строятся. Как тут построжишься, если вся ребятня без памяти любит своего дяденьку. Устинья Климовна и та суровость ослабила. Так, по привычке, шумнула:

– Гринька, ты хоть реви потише!

А в ответ ей:

– Я не Гринька, бабонька, я Мишанька!

– А ты... эй, Петька, что ли? Забыла! Эх вас леший всех перепутал! Да парнишка, как тебя зовут-то? Ты утихомирься!

Запуталась вконец, махнула рукой и негромко залилась дробненьким хохотком.

Седок, которого Митенька доставил из Шадры, оглядывался по сторонам, щурился от солнца и смущенно улыбался, словно втихомолку дивился: «Надо же, красота какая, живи и любуйся...» Иногда останавливался, придерживал шапку рукой и запрокидывал голову, вглядываясь в небо. Постояв так недвижно, он встряхивался, улыбался Митеньке и шел дальше. Митенька, простая душа, странностям приезжего не удивлялся. Он всегда принимал людей такими, какими они были.

На подходе к дюжевскому дому приезжий споткнулся о коровью глызу и упал бы, но Митенька успел его поддержать.

– Благодарствую, – поднял шапку, слетевшую наземь, нахлобучил ее на голову и посмотрел Митеньке прямо в глаза. – Примета нехорошая, не надо бы мне спотыкаться. А ты, парень, людей жалеть умеешь?

– Не знаю, – Митенька пожал плечами. – Не думал про это.

– Умеешь. По глазам видно, у тебя глаза добрые. Ты, парень, пожалей меня, если я споткнусь не на дороге, а так...

– Как?

– А по-всякому бывает. Ладно, пойдем под светлы очи купца Дюжева.

Тихон Трофимович был дома. Сидел за конторскими кни-

гами, наводил ревизию. Щелкал костяшками счет и сурово хмурился. Он всегда хмурился, когда занимался делом. Здесь же, на столе, пыхтел самовар, на блюде горой лежали шаньги, а рядом, в глубокой чашке, отходила от мороза моченая брусника. Глянул на гостей и даже с лица сменился. Первая мысль про обоз была – неужели опять разбили?

– Здравствуйтесь вам, Тихон Трофимыч, – Митенька уважительно поклонился Дюжеву. – Поклон привез от Ивана Авдеича, и сказать велено – обоз ваш в сохранности, к обеду в Шадре будет. Если поторопятся, то и раньше.

Дюжев стряхнул костяшки на счетах, сами счета на попа поставил – он всегда их так ставил, когда выдавалось удачное дело. Руки потер, словно с морозу, гостей за стол пригласил угощаться. Митенька отказался.

– Как знаешь. А за хорошую весть спасибо. Ступай в лавку и скажи Вахрамееву, пусть он сапоги тебе выдаст. От меня. Девок скрипом завлекать станешь. А это кто, товарищ твой?

– Да нет, седока попутно привез. К вам он.

– По какой надобности?

– Мне, Тихон Трофимыч, с глазу на глаз поговорить надо.

Догадливый Митенька тут же попрощался и вышел. Из дюжевского дома напрямиком направился в лавку. На крыльце обмахнул снег с пимов березовым голиком, ободрился и вошел. После солнечного света и снежных блесков в лавке показалось темно, глаза будто позастило. Митенька встал у порога, чтобы оглядеться, и замер: то ли ему вправду видит-

ся, то ли блазнится? Стоит чудо какое-то, в красный шелк завернутое, и шевелится. Мало того – голос подает. Тихий, протяжный:

Что ты, белая береза,
Ветра нет, а ты шумишь?
Что, ретивое сердечко,
Горя нет, а ты болишь?

Митеньку разобрало любопытство, он притих, как мышка. А чудо плывет вдоль полок с товаром и голос не обрывает. Тут Митенька разглядел, что перед ним девка ходит, в шелк завернутая. Только откуда она взялась? Сроду никаких девок у Дюжева в лавке не было. От удивления у него даже в носу засвербило, и он, сам того не ожидая, звонко чихнул. Чудо ойкнуло, с писком отскочило в угол. А Митенька еще раз, да еще – такой чих парня разобрал, будто ядерного табака нанюхался. Палит, как из ружья. И остановиться не может. Крутнулся и выскочил на улицу. Прочихался там, высморкался, снегом лицо утер и опять в лавку.

Теперь уж никакого чуда там не увидел. Стояла за прилавком девка в застиранной кофточке и скручивала обрезок шелковой материи. Митенька девку узнал. Когда мужики определяли судьбу расейским у сруба, он тоже там был. Но девка тогда показалась ему злючей, вертучей, а он таких побаивался. Сейчас понял – ошибся. Совсем она не злючая, робеет, как и он.

Феклуша скрутила материю, засунула огненный кусок на полку, не удержалась и погладила его рукой. Митенька это заметил, увидел еще, что кофточка на локте протерлась и стоит на том месте латка. Сразу и обо всем догадался. Он всегда легко догадывался, что творится на душе у других людей. Само собой получалось. Вот и сейчас: о новой кофточке мечтала девка. Накрутила на плечи огнистую материю и воображала себя в красивящем наряде. А он ее спугнул. Даже таким манером не дал порадоваться. И такая виноватость одолела Митеньку, что снова засвербило в носу, он едва сдержался, чтобы не чихнуть.

– А ты нос вот так зажми, – показала ему Феклуша, придавив тонкие ноздри двумя пальцами, – и натужься. Оно и пройдет.

Митенька послушно исполнил, свербить в носу перестало.

– Вот спасибо. А где Вахрамеев?

Феклуша потупилась, украдкой взглядывая – смешной какой, и тихо ответила:

– А приказчик придут скоро. Они меня доглядеть оставили. А вот и они.

Пришел Вахрамеев, как всегда – недовольный и скучный. Встал за конторкой и поднял на Митеньку серенькие, припухлые глазки: ну, чего тебе?

Минуту назад у Митеньки и в помыслах не было, а тут прорезалось мгновенное желание: взять кусок красного шелку и подарить девке – пусть порадуется. Стал выпрашивать

у Вахрамеева – можно ли сапоги на шелк поменять? О том, что сапоги ему Дюжев вырешил, помалкивал, боялся, что приказчик в таком обмене сразу откажет. Вахрамеев же тарасил на него глаза и ничего не понимал. Какой обмен? Хочешь купить – бери. Плати деньги и забирай. В конце концов разозлился и стал выпроваживать Митеньку из лавки – он что, сосунок, насмешки пришел над ним строить?! Митенька засмутился, все нужные слова позабыл и молчком ушел.

На улице, охолонув на морозе, решился он пойти к Дюжеву и просить, чтобы тот на подарок ему шелку вырешил, а не сапоги. Направился к дому купца, но посредине остановился и передумал. Придется ведь объяснять – зачем перемена понадобилась? А как объяснить чужому человеку, если Митенька самому себе объяснить не мог.

За свою жизнь Дюжев много повидал народа. Всякого. На мякине его, стреляного воробья, не проведешь. Сразу приметил, что волосы у парня на голове разнятся, хоть и старался тот на правой стороне их ножницами подрезать, выровнять. «По бритому быстро растет, а все равно не сравнялось, недавно, видать, откочевал с острогу». Но вида не подал. Позвал парня за стол, чаю налил, блюдо с шаньгами поближе подвинул. Угощал и вспоминал – заряжено ли ружье? И Васьки, как на грех, нету. Ладно – заряжено, не заряжено – в любом случае пригодится, хоть для испуга. Сказал, что вина сейчас принесет, взялся за дверную скобу, чтобы выйти из горницы, но улыбочивый парень отложил надкусанную шаньгу и неразборчиво, рот-то занят был, выговорил:

– Ты, Тихон Трофимыч, не бегай, ружье не понадобится. И работников не зови, разговор у меня только к тебе имеется.

Дюжев вернулся и сел за стол напротив парня.

– А приметлив ты, Тихон Трофимыч, – продолжал гость. – Глянул на голову и сразу догадался.

Он пригладил волосы ладонью, допил чай и чашку на блюде осторожно перевернул кверху дном.

– Благодарствую за угощение.

– Ты хоть скажи – как зовут, откуда?

– Откуда я – ты сам догадался. А зовут зовуткой, кличут анчуткой. Не все ли равно? Я и совру – недорого возьму. Хочешь Петром зови али горшком, только в печь не засовывай. А приехал я, Тихон Трофимыч, с письмом. Письмо привез.

Дюжев протянул руку – давай. Петр улыбнулся, покачал головой.

– Письмо у меня к тебе особое, не на бумаге писано. Тут оно, – дотронулся ладонью до головы, взъерошил жесткие, прямые волосы. – Слушай. Так письмо начинается. «Добрый день или вечер, купец Тихон Трофимыч Дюжев. Не удивляйся на мое послание и шибко не проклинай, когда узнаешь, кто его тебе посылает. Жизнь наша, считай, прожитая, жить нам осталось хрен да маленько, так что давай друг к дружке наберемся терпения. Зовут меня Илья Серафимыч Тархов, лучше сказать, звали так раньше. Служил я в России, в Костроме, почтовым чиновником, не удержался от соблазна и позарился на казенные деньги. Как дело было, рассказывать не стану – долго. Скажу, чем кончилось, – попал я на каторгу. А с каторги вышел мне указ на поселенье. Судьба на поселенье известная: холодно, голодно, а от работы по своей воле успел я крепко отвыкнуть. Приходят ко мне бродяги и говорят: пора, Зубый, на промысел выходить, иначе замрем. Сколотилось нас полтора десятка, меня атаманом кликнули, угнали лошадей у мужичков, сели и поехали в чисто поле. Хорошо порезвились. Но дошел слух, что местные мужички по начальству грамоту сочинили, чтобы нас, бродяг, власти

под корень вывели. Ясное дело – мы за теми мужичками следом. Пока ехали, к нам еще один слушок привязался: у хозяйина постоялого двора, Федора Калитвина, золотишко водится, бережет его для своей единственной дочери. Но мужик он крутой, бывалый, и на испуг не возьмешь. Что делать? Вспомнил я старые времена, пододелся чиновником и явился на постоялый двор. А следом за мной – тут уж судьба, ее и конем не переедешь – прибыли томский купец Кривошеин и приказчик с ним, по имени Тихон».

Дюжев тяжело навалился на столешницу, подался вперед, словно хотел ухватить гостя за грудки, но тут же и сник, стал шарить вокруг себя, словно искал опору. Попалась чайная чашка, он накрыл ее волосатой клешней, сжал, и она только хрустнула. Гость от резкого звука вздрогнул, но тут же наморщил лоб, вспоминая, и покатил дальше, как по писаному. Раскровенив осколком ладонь, Дюжев это не заметил, он внимательно слушал, не пропуская единого слова, а из крепко сжатого кулака быстро капали на столешницу темно-красные капли, словно перезрелая клюква сыпалась.

– «Все одно к одному складывалось. Кривошеин, оказывается, с пушনিной приехал – еще приварок. К тому времени я и тайник у Федора разнюхал. Тут падера началась – свету белого не видать. Самое времечко для нашего дела. Встал я ночью, крадусь, чтобы ворота и двери открыть, и вдруг – шепот. Притих, слушаю. Приказчик с Федоровой дочкой шепчутся. И так они сладко шепчутся, такие слова любезные го-

ворят, что у меня аж душа ворохнулась. У самого-то любви никогда не было, я с блядьми возился, а они товар известный. Замер, уши растопырил, и глаза на мокром месте от умиления. Ни убавить, как говорится, ни прибавить. Но слезы – одно, а дело наше, разбойничье, – совсем иное: у нас свой закон, не жалостливый. Тому закону я и подчинялся. Ворота и двери раскрыл нараспашку, бродяги мои влетели, стрельбу подняли. Сам я к тайнику сразу сунулся, а боковушка, где голубки ворковали, за спиной у меня осталась. Надеялся, что не высунутся они и целы останутся. Не хотелось их крови принимать на руки. Откуда было знать, что девчонка каким-то моментом из боковушки выскочила. И налетела на пулю, дурочка. Золотишко, пушнину мы взяли, жалобу у мужичков вытащили – все, как надо, сделали. Ушли на дальнюю заимку, станок там держали. Через верных людей вином разжились, гуляли напропалую, досыта. И догулялись. Ночью нас обложили, давай щелкать, как зайцев в половодье на острове. Мне одному подфартило живым уйти, хотя по всем раскладкам чистая смерть выпадала. Однако ушел. Мало того, золотишко успел прихватить. С той добычи я ни копейки не брал, рука не поднималась. Она и нынче, добыча вся, целехонькая лежит. А где лежит, про то мой товарищ знает. Там и колечко девчоночье – на свадьбу, видать, припасал Федор. Вот и подобрался я к концу своего письма, Тихон Трофимыч. Жизнь моя на излете, и, по всему видно, откочует скоро грешная душа напрямиком в огненную геенну,

станет там мучиться до скончания века. Много за мной грехов накопилось, один страшнее другого. Но самый страшный тот, который на дворе у Федора содеял. Я ваши шепотки до сих пор слышу. А как услышу, душа саднить начинает, мучиться, хоть голову в петлю. Покаяться хочу. Знаю, что прощенья мне нету, но яви ты, Тихон Трофимыч, последнюю христианскую милость. Возьми золото Федора, поставь на него церковь. Помнишь, девчонка говорила, что церковь для вас еще не построена. Так пусть стоит. Знаю, что ты ответить мне можешь. И заранее на любые твои слова согласный. Об одном молю, на коленях перед тобой стою, до самой земли кланяюсь, – сделай, как я прошу. Облегчи хоть на малую долю мою расплату. Остаюсь за сим виноватый кругом ранешний чиновник почтовый, Илья Серафимович Тархов, а ныне бродяга и разбойник Зубый. Прости меня, ради Бога, исполни, о чем прошу».

Голос у Петра от долгого говорения чуть охрип. Закончив, он сглотнул слюну и откашлялся. Улыбнулся, словно хотел сказать: «Извиняйте, если что не так. Мое дело маленькое – передать. Я и передал». Улыбка так и замерла на лице у Петра; сам он, опустив плечи, сжался, сторожа взглядом каждое движение Дюжева. А тот выпрямился в полный рост, вздернул над головой кулак, крикнуть что-то хотел, но обмяк, тяжело шагнул в передний угол, под иконы, и опустился на колени. Крестился и не замечал, что правая рука, которой он крестится, измазана свежей кровью.

– Господи, удержи, не дай мне злону до конца выпить, – шептал Дюжев задышливым, прерывистым голосом. – Господи, останови, заступи мне дорогу, я еще тем разом сытый...

...Тихон лежал рядом с убитой Марьяшей, трогал ее холодную, наполовину расплетенную косу и слушал, как за стенами гудит ветер. На улице потеплело, снег отяжелел; не завивался в белые столбы, а неподвижно покоился на земле. Ветер же буянил по-прежнему: гонял туда-сюда половину распахнутых ворот, стучал ее о пластины забора. Стук проникал в дом, и Тихону всякий раз казалось, что кто-то идет. Он поднимал голову, глядел в раскрытые двери, но никто не появлялся. Тогда он снова перебирал пальцами холодную косу и терпеливо ждал, когда Марьяша проснется. Ему верилось, что она спит. Он даже шубой ее укрыл, чтобы не так холодно было на голом полу. Время остановилось. Тихон не знал – сколько он уже здесь: день, два, месяц или год? Разум отказывался воспринимать случившееся, и поэтому жила крепкая надежда: надо еще подождать немного – и навядение схлынет. Жизнь вернется на прежнее течение, он снова услышит Марьяшу, ее голос, увидит живое лицо, выхваченное из темноты пламенем свечки, а когда пламя погаснет, потянется всем существом навстречу блаженному и счастливому мигу, какой обещала, но не успела ему подарить судьба.

Между тем ветер угомонился, в доме стало покойно и тихо. Разом оборвалась тяжелая маета, на смену ей явилось

неизъяснимое облегчение. Оно подсказало Тихону, что Марьяша сейчас далеко-далеко, что вознеслась она на высоту, невидимую простому глазу, и там, куда вознеслась, ей было хорошо. Словно сам Марьяшин голос нашептал ему – хорошо.

Тихон поднялся. Широкие половицы дрогнули под ним, но он устоял. Цепляясь за стены, выбрался на крыльцо. Спустился на землю и через распахнутые ворота пошел прямо в тайгу. Ему хотелось затеряться в снегах, потерять самого себя, брэнную свою оболочку и уйти вслед за Марьяшей. Он добрался до опушки и замер. На высоком снегу под деревьями зеленела трава. Так ярко, словно ее сполоснул первый, с несердитым громом, веселый дождик. Проваливаясь в снег, Тихон подошел ближе. Это была не трава. Ветер наломал еловых веток, а они густо выстлали землю. Тихон упал на мягкую и холодную подстилку, закрыл глаза. От горячего, запаленного дыхания задубелые хвоинки отогрелись, запахло смолой, как в летний день.

Тихон успокоился и забылся. В забытьи уже подумал о том, что до Марьяши теперь, до того, как им сойтись воедино, осталось немного. Чуть-чуть осталось.

Но не суждено было Тихону достичь желаемого. Очнулся он от тепла, повел вокруг воспаленными глазами и увидел, что лежит на голбчике возле печки в Федоровом доме, а за столом сидят незнакомые люди и негромко переговариваются. Приподнял тяжелую голову, оперся для устойчивости на

локоть и услышал хрипатый, простуженный голос:

– Глянь, парень-то обыгался! Ишь, гляделками лупает! Корзухин, чаю ему неси, отпаивай хорошенько, чтоб в память пришел.

Бородатый высокий стражник, перепоясанный ремнями, крепко обнял Тихона за плечо сильной рукой, посадил и осторожно стал поить чаем. Горячие клубки, влившись в тело, оживили Тихона, он окончательно возвратился из своего забытья. Сразу же посмотрел туда, где лежала Марьяша. Ее там уже не было. Валялась лишь шуба, вывернутая наизнанку.

– Отвезли убиенных, всех отвезли, – заметив его взгляд, сообщил Корзухин. – Ты-то как целый остался?

– погоди, Корзухин, не гони, дай ему оклематься, – слышался от стола все тот же простуженный голос. – Напоил? Тащи к столу, пусть пожует.

За столом сидели урядник и пять стражников. Урядник по фамилии Брагин – «Брагин, да не пьяница», так он представился – ничего не спрашивал, а ждал, когда Тихон наестся. Тот хлебал горячую, с огня, похлебку, и тело, надломленное переживаниями, наливалось силой. Брагин крутил одной рукой седые усы, а другой, крепкими, загнутыми внутрь ногтями, постукивал по столешнице. Стук получался неживой, деревянный.

Наевшись, Тихон осоловел, добрался с помощью того же Корзухина до голбчика и опять уснул. Под вечер его разбу-

дили.

– Хватит, парень, дрыхнуть, подымайся, – Брагин в расстегнутом до пупа мундире стоял перед ним, широко расставив ноги, и снизу казалось, что он достает головой до матицы. – Рассказывай, как было.

Тихон стал рассказывать, стараясь ничего не забыть. Покорное желание уйти вслед за Марьяшей, которое им владело еще недавно, бесследно исчезло. Рождалось отчаяние, ведь ничего уже нельзя поправить – все свершилось, а из отчаяния, как пырей на заброшенном огороде, прорастала злоба. И она требовала выхода, действия.

Брагин слушал внимательно, накручивал на указательный палец кончик усов. Неожиданно перебил:

– А зубы не помнишь у чиновника? Какие?

– Зубы? – переспросил Тихон. – Зубы как зубы, только уж белые шибко, как грузди.

– Так и есть! – Брагин повернулся к стражникам. – Я как в воду глядел! Зубый тут хозяйничал, больше некому. Куда вот только отлеживаться подался?

– А кто он – Зубый? – Тихон поднялся и встал напротив Брагина, ожидая ответа. – Кто он такой?

– Варнак, каких свет не видывал!

– Я его убью, – шепотом сказал Тихон. – Найду и убью.

– Ты его найди сначала, – усмехнулся Брагин и перестал крутить усы.

– А пусть попробует, – подал голос Корзухин. – Ишь, как

его разобрало. Парень лихой. Попробуем? Нас-то за версту учуют, а он нездешний. Ты, парень, не испугаешься?

Тихон мотнул головой. Даже слов не пожелал на ответ тратить. Пустота непоправимости, которая разверзлась перед ним, требовала отмщения, и он, горяча себя, как норовистый конь, в сей же момент желал скорого дела. Но Брагин остудил его горячность:

– Быстро только кошки нюхаются. Сначала обмозговать надо.

Обмозговывали долго, до поздней ночи.

А на исходе следующего дня, едва не запалив рыжего жеребчика, – не гонкие, надо сказать, были кони на казенной службе у стражников, – Тихон подъезжал, стоя на коленях в легкой кошевке, к глухой деревушке, которая теснилась в самой непролазной чащобе густой черни. На въезде бросил клок сена под сосну, стоящую на отшибе. С дороги посмотрел – заметно ли? Заметно было хорошо. Вот и ладно.

Нужный дом Тихон нашел быстро. Да и как не найти, если увиделась еще издали большущая жердь над обычной двускатной крышей, а на самой вершинке – петушок, вырезанный из жести. «Ох ты, страж какой! – подивился Тихон, останавливая жеребчика возле ворот и вылезая из кошевки. – Правду говорил Брагин – не промахнешься, в аккурат выедешь. Ну, Господи, благослови!»

Громко затарабанил кулаком в ворота.

– Хозяин, а хозяин!

На стук и крик истошным лаем отозвалась собака. Из ворот никто не выходил. Тихон затарабанил сильнее.

Двери в избе наконец скрипнули, собака смолкла, будто подавилась, на снегу послышались вкрадчивые шаги.

– Открывай быстрее! – торопил Тихон. – Все руки отсушил, пока долбился!

Ворота чуть-чуть, на ладонь, приоткрылись, и маленькие, острые глазки из-под старого малахая ощупали Тихона. Нос хозяйину закрывала серенькая тряпка, из-под тряпки синели узкие, поджатые губы. Реденькая, пучками, белесая бороденка вздрагивала.

– Се те надо? Ступай, куда сол... – хозяин потянул ворота на себя, но Тихон успел воткнуть в узкую щель носок пима. – Се ты лезес? Се лезес?! Куда лезес, парсывес!

– Ты не сюсюкай! Открывай ворота пошире! Я к Зубому приехал! Он так наказывал – через тебя его найти. Дурачка не корчи! Открывай!

– Какой Зубый! Не знаю, не слысал, не лезь ко мне, а то музыков крисятъ стану!

– Я те крикну. Так крикну, что головенка отвалится. Открывай!

Тихон навалился на ворота, сдвинул хозяина и ступил в ограду, ввел следом за собой жеребчика. След от кошевки на снегу заровнял пимами. Ворота – на крепкую березовую закладку, хозяина – за шкирку, поволок впереди себя в избу. Тот упирался, выкидывал ноги, обутые в старые опорки, но

они лишь скользили по снегу. В избе Тихон скинул полушубок, шапку, смело прошел за стол, заваленный обглоданными мослами и куриными косточками. Смахнул объедки на пол и бросил на грязную столешницу деньги.

– Вина давай!

Глазенки хозяина засверкали и заметались: с Тихона – на деньги, а с денег – опять на Тихона. Не доверяясь до конца, мужичонка шепелявил:

– Се привязался, не дерзу вина сроду!

– Мало? Добавлю! – Тихон со стуком выложил пригоршню серебра. – Тащи, кому сказал! У меня нутро ссохлось!

На этот раз хозяин не устоял. Скакнул к столу, узкой, сморщенной лапкой, похожей на птичью, смахнул деньги и засеменял, шлепая спадающими опорками, в темные сени. Вернулся, поставил вино в грязном штофе, сунул в деревянной чашке квашеной капусты и говяжью кость, мясо с которой было уже наполовину съедено. «За такие деньги можно и получше угостить...» – молча, про себя усмехнулся Тихон. Плеснул вина в щербатую кружку и протянул хозяину – нака, попробуй.

Хозяин покривился синюшными губами, перенял стакан и долго, дергая туда-сюда остреньким кадыком, сосал вино. Высосал и заговорил:

– Ты се, боисся? Не бойся, вино систое.

Тихон не отозвался. Выпил свою долю, пожевал капусты, которая крепко отдавала гнилью старого дерева, и потребо-

вал, чтобы хозяин определил его на спанье. Сам тем временем вышел на улицу, сразу глянул на вершинку жерди. Петушок лежал на боку. «Хитрованы, ну хитрованы! Надо ж додуматься! Только мы с Брагиным не глупее вас». Он махом взлетел на лестницу, прислоненную к стене дома, увидел конец тонкой веревки и дернул за него. Петушок поднялся и встал, как стоял. «Так оно лучше будет».

Спать легли рано. Тихон, не смыкая глаз, караулил, чтобы хозяин не выскользнул из избы. Но хозяин смиренно лежал на полатах и посапывал. О том, что он знает Зубого, отрекся накрепко. Шепелявил: в первый раз слышит, ни сном, ни духом не ведает, пусть проезжий зря его не пытается, а отправляется утром своей дорогой.

Так и лежали. До тех пор пока не взлаяла собака. Хозяин тут же свесил с полатей ноги, прислушался. Шепотом окликнул Тихона, но тот не отозвался – сплю, без задних ног сплю. Хозяин неслышно соскользнул с полатей, так же неслышно нырнул в сени, даже дверью не скрипнул. Тихон – следом за ним. В сенях услышал:

– А давай-ка глянем, какой такой знакомец. – Глухой голос, спотыкающийся после каждого слова, выдавал хмельного человека. Это на руку – с хмельным легче сладить. Тихон потрогал опояску, заранее сунутую за ошкур штанов, и прыгнул к порогу сеней. Лапнул за плечи ночного гостя, кувыркнул на пол. Хозяина вышиб на улицу. Дверь – на крючок. Навалился на ошалевшего гостя, заломил руки. Туго-нату-

го затянул их опояской. И сразу на улицу. Хозяин бестолково суетился возле Тихоновой кошевки, пытался завести жеребчика в оглобли, но тот уросил² и взлягивал. Увидев Тихона, мужичонка присел на корточки и прикрыл голову руками. Скрутить его, тощего и малосильного, было делом одной минуты. Скоро Тихон уже гнал жеребчика за деревню, к той сосне, возле которой раскидал сено. Брагин и стражники, сидевшие до поры до времени в лесу, выехали ему навстречу, и все вместе на рысях заторопили коней в деревню.

В доме, куда затащили связанных, запалили лучину, и Тихон разглядел ночного гостя. На одном глазу у варнака было бельмо, а другой, красный от пьянства, словно остекленел – смотрел прямо и не мигая. «Может, этот и стрелил Марьяшу?» – подумал Тихон, и от нахлынувшей злобы ему стало тяжело дышать.

– Где Зубый? – спросил Брагин. Не дождавшись ответа, стал стаскивать с себя портупею. – Ска-а-жете, никуда не денетесь. Я вот только одежду сыму, и потолкуем. Ты, парень, иди пока на улицу, погоди там.

На улице Тихон сел в кошевку и услышал истошные крики – Брагин толковал крепко. Скоро избитого варнака волоком вытащили из дома, бросили, как мешок с отрубями, в кошевку. Брагин, еще не отойдя от разговора, задышливо скомандовал:

– Поехали!

² Уросить – упорствовать, упираться, упрямиться (сиб.).

К заимке добрались под утро. Варнаку заткнули рот рукавицей и свалили с кошевки в снег – на всякий случай, чтобы голоса не подал. Из сумки, притороченной к седлу, Брагин достал ружье, протянул его Тихону. Показал место, где встать, – на самом краю поляны, на истоке слабо утоптанной тропы. Приняв ружье, встав, где ему велели, Тихон сбросил рукавицы, обхватил голыми ладонями шейку приклада и цевье, и к нему вновь подступила злоба. Он был готов стрелять в варнаков, как в глухарей, – без промаха.

Стражники неслышно окружили избушку. Брагин вплотную подкрался к заледенелому оконцу, выбил ружейным стволом звонко звякнувшее стекло. Тихон вздрогнул. Как только ударили на поляне первые выстрелы, раздались крики, ему сразу почудилось, что вернулась страшная ночь, когда шумели и палили в доме Федора. И за эту ночь он хотел отомстить. По-охотничьи сноровисто вскинул ружье, выставил вперед для упора левую ногу.

Варнаки, выскочив из избушки, попытались прорваться к крытому загону, где стояли лошади, но стражники наповал уложили двоих человек, и остальные бросились обратно. Одному, самому юркому, удалось выскользнуть. Петляя, как заяц, он добежал до загона, вывел заузданную лошадь. Она шарахалась, пугаясь выстрелов, варнак крутился и никак не мог на нее заскочить. Это был Зубый – Тихон его узнал. Не качнув, твердо повел ствол ружья и взял под обрез – прямо в грудь. Спокойно потянул курок и тут же отдернул правую

руку от ружейного ложа. Качнулся, отступая назад, уронил ружье в снег.

Перед ним, закрывая Зубого, стояла Марьяша. Она укоряюще улыбалась и едва заметно покачивала головой, осуждая Тихона. «Что же ты, Тиша, – совсем близко услышал он ее голос. – Что же ты делаешь? Тебе крови мало? Зачем на нашу чистоту кровью брызгать? Не надо ее. И не мсти за меня, никогда не мсти. Кровь – она липкая, ничем не отмоешь». Марьяша завела наполовину расплетенную косу за плечо, отошла на несколько шагов и соскользнула за деревья – исчезла. Тихон кинулся следом, напоролся на сучья и остановился. Снег перед ним на том месте, где только что прошла Марьяша, лежал нетронутым.

Затихал, укатывался все дальше по воровской тропе глухой стук конских копыт.

...Скрипели полозья, кошевка тряслась на ухабах – Тихон ничего не чуял. Лежал, зарывшись с головой в сено, стонал, словно от телесной боли, и не было ему никакого облегчения. Брагин, понимая его расстройство по-своему, рассудительно успокаивал:

– Ты не переживай за Зубого, найдем мы его, никуда не денется. А что оплошал – с кем не бывает. Скотину колоть – и то не у всякого рука подымется, а тут человек, хоть и разбойник. В волость приедем, ты в церкву сходи, свечку поставь за убиенных. Э-э-эх, жизнешка! – Брагин вытащил из-под себя кнут и понужнул замученного жеребчика. – Шewe-

лись, рыска, все умаялись!

Прежняя спокойная жизнь Дюжева дала спотычку, словно конь на полном скаку влетел ногой в неприметную для глаз яму. Все наперекосяк. «Наверняка судьба нечаянность готовит, – невесело думал Дюжев, маясь по ночам бессонницей, кряхтя и ворочаясь на мягкой перине. – И никуда не денешься. Явится – спрашивать не станет: готовый или не готовый... Может, к смертному часу дело движется? Потому и прожитое аукается?»

Петр за два дня отъелся и отоспался, а на третий попросил у Дюжева лошадь и пообещал, что вернется скоро. Лошадь ему Дюжев дал. Думал так: «Пусть к черту едет, только бы глаза не мозолил». Втайне надеялся, что неожиданный гость пропадет бесследно.

Но Петр не пропал и вернулся, как обещал, скоро – суток не прошло. Явился в спальню к Дюжеву, поставил на стол окованный железом сундучок. Железо крепко поржавело, в иных местах до самого дерева, медная ручка сундучка окрасилась густой ядовитой зеленью. Петр вывернул ножом подгнившую замочную скважину, отковырнул крышку и, не заглядывая внутрь, отошел. Улыбнулся, словно хотел сказать: «Я свое дело сделал, а ты, Тихон Трофимыч, иди, любуйся». Но Дюжев медлил и к сундучку не подходил. Сидел, опустив голову, покачивался и шевелил пальцами босых ног. Не хо-

телось ему перетряхивать прошлое, которое болело и не отпускало его, но, коль уж оно подало свой голос, отзывайся. Поднялся, прошлепал к столу, заглянул в сундучок.

Сверху лежали полуистлевшие бумажные деньги. Выгреб их и увидел, что на дне, нисколько не потускнев, светятся золотые рубли, а в уголке натек из кожаного мешочка, продырявленного временем, золотой песок. А на нем лежало маленькое золотое колечко – наверняка обручальное. Видно, Федор заранее для дочери готовил. Дюжев взял его и, держа на раскрытой ладони, поднес к самому лицу. Петр вильнул глазами и отвернулся. Не было сил смотреть, потому как Тихон Трофимович плакал. Петр поднялся с табуретки, пошел к двери.

– Пстой! – остановил его Дюжев. – Вернись, сядь на место!

Подолом рубахи вытер лицо, положил колечко в сундучок и прикрыл крышку. Отвернулся от Петра, еще раз задрал подол рубахи. Высморкался. А когда обернулся, это уже был прежний, суровый Тихон Трофимович Дюжев. Только чуть красные глаза напоминали о недолгой слабости.

– Ты вот что, парень, скажи, куда дальше метишь? Паспорта у тебя нет, беглый, ты и есть беглый. Могу властям сдать.

– Воля ваша, Тихон Трофимыч, – улыбнулся Петр. – Только не надо меня зажимать, все равно выскользну. Я скользкий, надо будет – меж пальцев протеку.

– Не хвались. Видали мы всяких. Говори толково – чего надо? И с какого квасу ты без опаски с письмом ко мне приперол? И с золотишком никуда не утек? А?

– Сразу все хочешь узнать, Тихон Трофимыч. Подожди, придет время, ни капли не утаю, все как на духу выложу. А нынче мне помолчать выгодней, для твоей же пользы. Властям сдашь – ничего не узнаешь. Лучше миром решить. Выправь мне бумаги и возьми к себе в работники. Не пожалейшь.

– Ишь ты, скорый какой! Еще и цены назначает. Молодой указывать! Ладно, ступай. Скажи Ваське, чтобы место определил. А я подумаю.

Видел Тихон Трофимович, что парень таится, увиливает от честного ответа. Узнать же, что он за душой скрывает, очень хотелось. «Пусть поживет, – решил Дюжев. – Поглядим, что дальше получится. Меня не шибко обманешь».

Он потоптался возле стола, снова достал золотое колечко, долго держал его на ладони, разглядывал, пытаясь уловить тяжесть, но колечко было, словно воздушное – без весу. Дюжев зажал его в кулаке, осторожно пронес в передний угол и положил на божницу, за иконы.

...Загудел ветер. Ударил тугими волнами в скаты крыши, и сквозь гул просочился прерывистый шепот: «Встань, встань, выйди...»

Дюжев, отзываясь на шепот, послушно встал и вышел из дома. Снег на опушке бора был покрыт зеленой травой.

«Зима же на дворе. Откуда трава взялась?»

«Иди, иди...»

Он добрался до опушки и увидел: на траве, раскинув крестом руки, лежала Марьяша. Как живая. Словно прилегла, разморенная солнцем, и накоротке заснула. Дюжев бросился, что есть силы, в уброд, по снегу. Вот она, совсем близко – Марьяша... Коса, до половины расплетенная, вытянулась по земле, и ветер играет пшеничным волосом, шевелит, переплетая его с травой. А ведь не трава это, совсем не трава... Ветки это еловые. Ветер пообломал их с елей, выстелил ими снег, и получился на белом зеленый ковер. А на ковре – она, Марьяша...

Дюжев кинулся к ней и ударился в невидимую преграду. Бился, стучался в нее, а хода не было. Тогда он закричал, и преграда бесшумно рухнула. Побежал, но Марьяши на прежнем месте уже не было – одна лишь зелень еловых веток.

«Иди, иди... – снова дотянулся до него прерывистый шепот. – Иди и не отставай».

Он торопился, пытаясь поспеть за шепотом. От опушки, темной улицей – через деревню и на бугор. Поднялся на заснеженную макушку и остановился, очарованно глядя на бугор: на его глазах из макушки бугра заструился свет. Он переплетался своими потоками, безмолвно кипел, а из кипения, развертываясь, выплывала церковь. Парусами распустив купола, недосыгаемая в своей высоте, она скользила над холодной землей, и оттуда же, с высоты, опускался едва раз-

личимый шепот Марьяши: «Видишь, Тиша, это наша церковь. Смотри хорошенько, запомни ее...» Шепот оборвался и канул, а на смену ему явился колокольный звон.

И разом исчезло все, стихло. Дюжев стоял на крыльце своего дома. «Я сплю или наяву случилось?» Голой ладонью сгреб снег с перил, вытер лицо. Кожа загорелась от холодной влаги. Дюжев переступил с ноги на ногу, с мерзлым хрустом приминая снег под пимами, негромко, вслух произнес:

– Господи, а я ведь понял, знак-то...

И услышал свой живой голос.

Не успели оглянуться – подоспел Никола-зимний. Народ из Огневой Заимки собирался в Шадру на ярмарку и в тамошнюю церковь на праздничную службу. Рано утром закрипели ворота конюшен; сыто, после доброй кормежки заржали кони, выходя в клубах пара на вольный мороз. Взвизгнули полозья стронутых с места саней и кошевок. Всполошились сороки, засновали с одной усадьбы на другую, разом натараторивая всем без разбору скорых гостей.

Уселась одна вертихвостка и на зулинский заплот. Разинула клюв, чтобы дать пространство болтливому языку, и поперхнулась, замерла в изумлении, как полоротая баба у колодца. Но скоро опамятовалась, спорхнула, осыпав снег с заплота, и полетела, торопясь доложить товаркам о том, что увидел. А картину она увидела и впрямь необычную.

На чистом зулинском дворе стояли четыре тройки. Двенадцать лошадей перебирали ногами от нетерпения, шевелили сани, и в ограде слышался слитный шум. Вылетал из конских ноздрей пар, обносил морды инеем. Кони просили ходу. Казалось, дай им волю, ослабь вожжи – земля загудит под копытами, и не белесый пар из ноздрей пыхнет, а огонь с искрами.

Но время выезда еще не пришло. Устинью Климовну ждали.

Вся же остальная зулинская родова, снаряженная в путь, была уже в ограде и ждала лишь команды, чтобы усесться в сани. Ребятишки, радуясь празднику, не могли унять своего восторга и взвизгивали, получая от матерей несердитые подзатыльники. Вырядились Глафира, Пелагея и Зинаида, словно на свадьбу: у каждой белые пимы с красной строчкой, шубы-барнаулки с беличьими воротниками, из-под шуб новенькие вышитые юбки выглядывают, а на головах повязанные на узорчатые подбрусники шерстяные шали. Такие разноцветные, словно украли бабы с летнего луга по охапке разнотравья и накинули на себя. Зарумянились женки на морозе, помолодели. Мужики глядят на своих благоверных, примелькавшихся в серых буднях, раскрывают глаза пошире, словно впервые видят.

Но вот и дверь скрипнула. Устинья Климовна, легонько, неслышно ступая, вышла на крыльцо. Она и в праздник своей суровости не изменила: шаль у ней черная, как у монашки. В руке высохший легонький бадожок из березы. Оперлась на него, оглядела запряженные тройки, спросила:

– Ванюша, ты пристяжную-то поглядел у Митеньки? Не храмлет?

– Не храмлет, маменька, – с поклоном отозвался Иван, поглаживая сивую уже бороду. – По двору провели, глянули – полетит, как птичка.

– Тогда поехали. Господи, благослови нас, грешных. – Устинья Климовна перекрестилась сама, перекрестила свое

большое гнездо, а еще – все четыре тройки, каждую в отдельности.

Митенька подскочил к крыльцу, придерживая матушку за руку, помогая ей спуститься со ступенек, и довел до первой тройки. Усадил на тулуп, расстеленный на мягком сене, побежал отворять широкие ворота. Устинья Климовна оглянулась, проверила – все ли уселись? Все. Тихонько тронула вскочившего на облучок Митеньку бадожком в плечо – поехали.

Первой за ворота выкатилась тройка с Митенькой и Устиньей Климовной, вторыми – Павел с Зинаидой и с ребятишками, третьими – Федор с Пелагеей и с ребятишками, а последним выезжал со своей половиной и с чадами Иван. Закрыл ворота, огляделся – все ли в порядке? – и тронул коней, замыкая знатный зулинский выезд.

Ехали тихо, неторопким ходом, потому как Устинья Климовна скорую езду, а особенно скачки, считала дурным баловством и частенько говаривала про лихачей: «Сами бы, лешаки, залезали в хомут и скакали, пока пеной не изойдут. За что же лошадь, божью тварь, мучить?»

А Митенька быструю езду любил. Хлебом не корми – дай пролететь, чтобы ветер с головы шапку скидывал. Но при маменьке и помыслить не мог об этом. Натягивал вожжи, сдерживая коней, а сам от нетерпения ерзал на облучке. И надо же было случиться: не раньше, не позже, а именно в это время догнал зулинский выезд Васька. Стоял он, широко рас-

ставив ноги, в передке кошевки, правил летучим Игренькой и свистел, подбадривая его, как варнак на большой дороге.

Игренька, прижимая уши, распластываясь над землей, мчал без удержу. По дороге Васька не решился обгонять Зулиных – вдруг ненароком занесет кошевку на раскате да шмякнет об сани. Но и стопорить скачку, лишая себя долгожданной радости, Васька не пожелал. Уперся ногой в передок, правую вожжу потянул на себя. Игренька лишь голову вскинул, словно знак подал: понял я, чего требуется! Подал вправо, перемахнул наискось невысокую бровку и – по целику, вдоль дороги! Завьюжило, покатилося следом за кошевкой снежное облако.

– Ой, лихоманец, с ума тронулся – эдак-то гнать! – сетовала Устинья Климовна, глядя на дюжевского работника. – Скажу, однако, Тихону Трофимычу, чтоб не давал лошади. Не езда, а чистое убойство.

Митенька ревниво провожал взглядом дюжевскую кошевку и чуть не плакал. Обставил его Васька, после еще и смеяться будет. Эх, не было бы маменьки!

Васька между тем все круче натягивал правую вожжу. Игренька все дальше забирал от дороги и скоро выскочил на увал, который тянулся до самой Шадры. По увалу, по его малоснежной макушке, на виду у всех, кто ехал по дороге, Васька гнал Игреньку, оглушая округу разбойным свистом, а впереди вставало блестящее зимнее солнце, и чудилось, что еще немного – влетят человек, конь и кошевка в алый све-

тящийся круг.

«Погоди, погоди... – молча грозился Митенька. – Мамонька молебен отстоит в церкви, на ярманку глянет и домой отправится. А я отпрошусь у ей и останусь. Тогда поглядим, кто красоваться станет. Тоже мне, ухарь...»

Митенька был сердит на Ваську. И не только за сегодняшнее красование, но за насмешки, которые тот строил над ним в последнее время. А причиной всему Феклуша. По два раза на день стал заворачивать Митенька к дюжевскому дому. Идет по деревне совсем в другую сторону, задумается, глядь – стоит перед дюжевскими воротами. Васька это заметил, смекнул, какая нужда Митенькой водит, и дал волю длинному языку. Выскакивал на крыльцо и начинал базлать:

– Фекла Романовна! Встречай скорей, к тебе жених идет, завалашшенький! Глазонец соломой заткнут, ухо дошшечкой заколочено, заместо ног две лучинки вставлены, а на голове чугунка!

Феклуша, услышав Ваську, на улицу не показывалась. Митенька – не драться же с этим горлопаном! – круто разворачивался и топал восвояси.

«Ладно, ладно, – думал он сейчас, поглядывая на макушку увала, где уже и снег осел, взвихренный Игренькой. – Будет время – я тебе нос утру».

– Ты, парень, не уснул? – Устинья Климовна легонько толкнула Митеньку бадожком. – Придержи коней.

Митенька вскинулся и ахнул молчком. За поворотом,

уступая дорогу тройке, стоял Роман, а рядом с ним Феклуша. Легка на помине! Митенька вскочил с облучка, натянул вожжи. Кони перешли на шаг и остановились. Одиноких путников Устинья Климовна всегда велела подсаживать. Следила за этим строго, как и за всеми другими обычаями, заведенными ею для каждого случая.

– Милости просим с нами, – пригласила она Романа с дочерью. – До Шадры долго ноги бить. На ярманку подались?

– Спасибо за приглашенье, дай Бог здоровья, – поклонился Роман. – Полезай, Феклуша, мостись тут с краешку. От и ладно, а я рядышком. Про Шадру верно сказали, туда идем, только не на ярмарку, а в церковь на службу. Нам покупать-продавать нечего. Богу идем помолиться.

– А Васька чо не взял? Пустой гарцует.

– Да он звал. С ветерком, говорит, прокачу. А ветерок-то в голове у его. Опасаюсь я, перевернет на раскате. Лучше так, потихоньку. Верно, Феклуша?

– Верно, батюшка...

У Митеньки чуть вожжи из рук не выпали. И сказано-то два слова, но зато голосок какой! До самой середки достал – тепло и тревожно, до обмирания сердца. Но оглянуться назад, полюбоваться, Митенька не посмел. Так и правил тройкой до самой Шадры, не обернувшись.

Народу на праздничную службу собралось великое множество. Места в церкви всем не хватило. Стояли на паперти, в ограде и даже за воротами. Через распахнутые двери виделось с улицы мерцание свечей, доносились голоса певчих, приглушенные людским шорохом.

Каждому, кто пришел сюда, истово верилось, что рядом стоит незримый Николай-Чудотворец – мужицкий Бог, который не покинет и обережет в любом деле: в землепашеском, ямщицком и торговом. Ему молились, его просили, чтобы послал удачу.

Колокольный звон улетал за околицу и терялся в снежных полях посреди березовых колков, обнесенных кружевами просвечивающегося инея. Проникал в глубину земной стыни, обогревал корни ржи, наделял их родящей силой.

Все, что было в самой Шадре: многие люди, дома, торговые ряды, сани и лошади; все, что было за ее пределами: поля, увалы, иззубренная гряда тайги – все овевалось звоном, словно живым голосом. Он без препятствия входил в душу, и рука сама вздымалась, прикасаясь ко лбу троеперстием. Губы шептали: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй...»

После службы народ скатился с церковного пригорка вниз, на площадь посредине Шадры, и площадь зашевели-

лась, загомонила, покупая и продавая, споря и торгуясь, а при ловком случае, под шумок, объегоривая.

Торговля у Дюжева катилась, как по маслу. Товары, доставленные из Ирбита в Томск, а из Томска лихими Зулиными – в Шадру, шли нарасхват. Брали мануфактуру и скобянку, чай и посуду, а больше всего жаловали мужики вниманием железные плуги – их разобрали еще до обеда. Вахрамеев и приказчики из томских дюжевских магазинов сбивались с ног. На морозе от них пар валит. Сам Тихон Трофимович, скрывая радость и нагоняя на лицо суровость, прохаживался вдоль рядов, заводил разговоры со знакомцами и собирался уже прогуляться по ярмарке, как тут объявился Васька. Осадил Игреньку, вздыбив его перед зазевавшейся бабенкой, отмахнулся от ругани, которая полетела ему вослед, подскочил к хозяину:

– Тихон Трофимыч, дело у меня есть!

– Ну! – ухмыльнулся Дюжев. – А мы хотели в пим насрать да за тобой послать.

– А я сам явился! – не обиделся Васька. – Дело-то... Игреньку нашего шадринские обидели.

– Он чо – девка? «Обидели...»

– Смеются, Тихон Трофимыч. Там у их два конишки дохленьких, хвалятся, что обскачат.

– Кто хвалится-то – конишки? – похохатывал над разгоряченным работником Дюжев.

– Шадрински хвалятся. Дюжевский жеребец, смеются, в

хозяина весь, задышливый.

– Ну-у-у... – посуровел Дюжев, и добродушие с его лица как водой смыло.

– Ага! Так и смеются, – подтвердил Васька.

– Поехали! – Дюжев сердито шагнул к кошевке. – Не обгонишь – до гроба назем станешь убирать, к вожжам близко не подпущу!

Любой слух на ярмарке – быстрее молнии. Не успел Васька договориться с шадринскими парнями об условиях скачки, а народ уже повалил на крайнюю улицу, которая выходила на тракт. Любит праздный люд на скачки глазеть – хлебом не корми. Ваське того и надо: столько девок сразу на него пялятся! Шапку заломил, кудри на волю выпустил, цветастую опояску на барнаулке перетянул туго-натуго – красуется.

Скакать решили не вершни, а на кошевках, от середины улицы до первого свертка на тракте, где было кольцо для разворота.

И обратно.

Дюжев раздухарился. Шуба – нараспашку, борода – на сторону. Не мог примириться с обидой. Раззадоренному, ему и в ум не пало, что Васька сам надразнил шадринских парней, наговорил им обидных слов и подбил на скачки. Правда, парни сейчас про это и сами не помнили. Кровь гуляла, глаза азарт застил.

Три кошевки свободно уместились в один ряд поперек улицы. Людское волнение передавалось и коням. Они рас-

хлестывали копытами утоптаный снег, косили по сторонам широко распахнутыми глазами. А в глазах, округлых и влажных, – цветастое многолюдье, ближние дома и край неба.

Отмашка! Гикнули! Полетели, будто сорванные ветром, кошевки, вырываясь из улицы на простор тракта. Васька знал толк в скачках. Лихачить лихачил, но мог и головой соображать. Полного хода Игреньке не давал. Держал его с соперниками ухо в ухо. Перед свертком даже приотстал немного, боялся, как бы кошевку не занесло. И не прогадал. Обошел шадринских парней, которым пришлось на развороте своих скакунов сдерживать. А в обратную сторону – сколько есть моченьки. Тут уж ни себя, ни коня не жалеи. Только глаза крепче прищуривай, чтобы ветром не выхлестнуло. Игренька выстирался над землей, и казалось, что он ее не касается – в воздухе отмахивает искрометный галоп.

– Дюжевский! Дюжевский! – закричали самые дальнорюкие, когда появилась на тракте стремительно летящая черная точка.

Тихон Трофимович успокоился и степенно запахнул шубу, всем своим видом желая показать: и так ясно, что Игреньку не обскачешь, оторвали, понимаешь, занятого человека от дела, заставили глупостями заниматься...

Шадринские парни, потеряв надежду, уже не гнали своих коней. Тянулись абы как. Васька, наоборот, подстегивал Игреньку, не давая и малого передыха, – когда еще представится случай покрасоваться в полной победе. Кошевка влетела

в улицу и понеслась, не сбавляя хода, к площади. Люди, раступившись по обе стороны, кричали и махали шапками.

И вдруг разом, в один звук, придушенно ахнули. Замерли и не шевелились, словно окаменели, глядя на страшную картину: выскочил неизвестно откуда малой парнишонко, бросился наперерез кошевке, махом желая перебежать улицу. Но поскользнулся на самой середине и шлепнулся. Игренька бил копытами землю, раздувая разъяренные ноздри. Его бешеный, иступленный бег не знал удержу.

Васька уперся в передок кошевки, потянул на себя вожжи, но Игренька только всхрапывал, задирая голову, – ноги его остановиться не могли. Парнишонко съежился, уткнулся носом в снег и схватился руками за голову.

Ближе, ближе... Иные люди от страха зажмурились.

И не увидели, как мелькнул, отделяясь от толпы, яркий платок – словно цветок бросили под ноги Игреньке.

А-ах!

Повис кто-то, намертво ухватившись обеими руками за узду. Игренька споткнулся, сбиваясь с разгона, рванул вбок, с треском выламывая оглобли, и, потеряв равновесие, тяжело упал. Ваську скинуло с кошевки, как песок с лопаты, шлепнуло об дорогу, и он въехал на пузе прямо в середину толпы.

Оголец вздернул голову, заверещал, призывая мамку.

Цветастый платок покачивался на задке кошевки, а с дороги, стыдливо придерживая разодранную юбку, поднима-

лась Феклуша. Она еще ничего не успела сообщить и только морщилась от боли, растерянно искала взглядом парнишонку, а тот, вскочив на ноги, пискнул, что обмочился, и припустил на площадь, базлая во все горло: «Маменька!»

Очнувшись, все заговорили, бросились на дорогу – кто к Игреньке, кто к Феклуше, которая, ступив несколько шагов, ойкнула – ногу больно.

Ее бестолково подхватили на руки, заспорили, не зная, куда нести, но вовремя подоспела суровая Устинья Климовна и разом навела порядок:

– Пим сымите. Садите девку на кошевку.

Приказание послушно исполнили. Цепкими, сухими пальцами Устинья Климовна ощупала зашибленную ногу и успокоила:

– Перелому нету, кость целая. Митрей, давай к нам девку. Да скорей, парень, скорей.

Митенька махом подогнал тройку, Феклушу перенесли на сани. Роман сунулся, желая примоститься рядом с дочерью, но Устинья Климовна остановила:

– Некого тебе делать, не бойся, не изурочим, – тут увидела Дюжева и укорила его: – Тебе, Тихон Трофимыч, думать бы надо – седина в бороде стукнула. Такое смертоубийство распустил. Я утром еще варнака твоего видала, сразу подумала – свернет шею либо затопчет кого. Он вишь, чо выкинул! Прута доброго на вас нету!

Тихон Трофимыч не перечил и не оправдывался, сердито

поглядывал на Ваську. А тот утирался снегом и стряхивал с ладоней талые ошметья бурого цвета.

– Вот девка-то, а?! – раздался чей-то мужской голос. – С такой на медведя ходить можно! Вот отчаюга!

– Слава Богу, хоть обошлось, – вздохнула какая-то баба.

И впрямь обошлось. Игренька даже не покалечился. Освобожденный от сбруи, он вздрагивал, переступая ногами, бока его ходили ходуном.

– Коня, коня поводите, запалится, – скомандовала напоследок Устинья Климовна и уселась в сани рядом с Феклушей. – Хозяева, прости меня, грешную!

Толкнула Митеньку бадожком в спину – поехали!

Народ стал расходиться. Ярмарка еще не кончилась, она лишь в самый разгар вступала, и много чего интересного можно было увидеть.

Васька, прихрамывая, несмело подошел к Дюжеву. Тот глянул на его морду, раскатанную, как красный блин, хотел отругать, но передумал. Махнул рукой – сгинь, чтобы глаза не видели. Васька послушно подался к Игреньке.

Роман топтался на месте, с тревогой поглядывал вслед зулинской тройке.

– Да ты не бойсь, – успокаивал его Дюжев. – Устинья – лекарка знатная, враз ногу выправит, – виновато крикнул и позвал Романа в кабак: – Пойдем, брат, погреемся, зябко стало.

...Тихо-тихо брела по Огневой Заимке зулинская тройка. Кони за долгий день приморились, шли неторопким шагом,

а Митенька их не подгонял, придерживал в руках слабо натянутые вожжи, оглядывался на Феклушу и жалел, что дорога до дюжевского дома уж очень короткая.

Устинья Климовна дело свое спроворила быстро. Распарила Феклуше ушибленную ногу в горячей воде, приложила травок, прочитала сухим шепотом молитву и велела Митеньке доставить девку до места.

– Да не вздумай гнать! – вдогонку ему наказывала Устинья Климовна.

А Митенька и не думал. Будь его воля – он бы до дюжевского дома две недели Феклушу вез. Но – короток путь. У высоких ворот тройка встала. Выбежала Степановна, узнала, в чем дело, запричитала, как на похоронах. Но тут же и осеклась, заторопила Митеньку, а сама побежала в дом, чтобы готовить постель.

Митенька поднял Феклушу на руки и понес, а она закрыла глаза от пугающей близости. Большущие, выгнутые ресницы вздрагивали. На высоком крыльце Митенька споткнулся, Феклуша распахнула глаза, и он вздрогнул – столько в них было ласки и благодарности, что хватило бы не только на одного человека, на Митеньку, но и на весь белый свет.

А в Шадре, не затихая, кипела ярмарка.

После полудня проголодавшийся народ тянулся в кабак, чтобы погреть нутро. Двери – хлоп да хлоп. Морозные клубки катались по полу. Четверо половых носились, сломя голову, а все равно не успевали. Но Тихону Трофимовичу, как почетному гостю, стол накрыли мигом, а на край стола поставили пыхающий жаром самовар. Вина не принесли, потому как знали: при деле Дюжев капли в рот не берет. Роман оглядел богатую снедь, подивился на блестящий ведерный самовар, засомневался:

– Не осилим, Тихон Трофимыч.

– А ничо, – отмахнулся Дюжев. – Глаза завидушши, а пузо безразмерно. Угощайся, братец, седни мы заработали.

Под чаек трезво и неторопко сладилась у них беседа. Роман, заново переживая увиденное, рассказал о чудном и теплом свете, какой явился им на бугре с Феклушей, когда остались они в Огневой Заимке, ссаженные неласковым ямщиком. А еще рассказал о горбатой старушке, которая приводила его на бугор, где видел он церковь, сотканную из того же неведомого света.

– И понять не могу, – дивился Роман, – то ли сон мне снится, то ли наяву было.

Дюжев слушал, не перебивая ни единым словом, только

запаленно вздыхивал, как загнанный конь, да раздирал густую бороду крепкими короткими пальцами. А выслушав до конца, сказал:

– Сон ли не сон, а знак это, братец. Знак. Чуешь, к чему он?

– Да я уж думал. Разве к тому, что церкви, раньше ставил?

– Мастер, что ли?

– Да ходил с артелью, с батюшкой.

– Вот оно и ладно, – успокоенно проговорил Дюжев. – Все к одному.

– О чем ты?

– Все о том же. Ты ешь, братец, ешь, тебе робить много нынче придется.

С ярмарки они возвращались вдвоем, уже под вечер. Молчали и слушали стылый скрип полозьев да легкий перестук конских копыт об утоптанную за последние дни дорогу. Зимние сумерки выстилали на полях голубые тени, в логах тени сгущались, становились похожими на темные озера. На густом темно-синем небе проклюнулась первая звезда, дорога меж тем поднималась на взгорок перед Огневой Заимкой, и чудилось, что кони, вскидывая головами, погонисто уходят в небо.

И вдруг встали как вкопанные. Тихон Трофимович дернул вожжами, понужая их, но кони – ни с места. Он выпростался из шубы, вылез из саней. Навстречу ему семенила по дороге горбатая старушонка. Она невесомо опиралась на старый

баджок, и шаг ее был легкий, неслышимый.

– Ты откуда взялась, болезная? – удивился Тихон Трофимович.

Старушка подошла совсем близко, тихо молвила:

– Ступай за мной, и ты, сердешный, – позвала Романа, – тоже ступай.

Повернулась и пошла-заскользила по снежному целику, целясь к правой окраине Огневой Заимки, где взметывался над Уенью высокий бугор. Тихон Трофимович и Роман подались следом, поспешая изо всех сил за ее быстрым ходом.

Она вывела их на самую макушку бугра. Остановилась, опираясь на баджок, не разгибая согнутой спины, подняла голову. Тихон Трофимович и Роман стояли перед ней смиренно, как послушные ребятишки перед строгой маменькой. Старушка оглядела их с ног до головы, сухим, шелестящим голосом заговорила:

– Тута ваша радость, – подняла баджок и пристукнула им, протыкая снег. – Тута и ваше горе.

– Кто ты? – спросил Тихон Трофимович.

– Судьба, – коротко ответила старушка.

И исчезла.

Часть вторая

1

Плотницкая артель – двенадцать мужиков в просторных рубахах. Бродни под коленями перевязаны сыромятными ремешками, щедро смазаны дегтем и рыбьим жиром – черны, пахучи. Как на праздник.

Отвесно сеет реденький дождик, мочит непокрытые головы, падает на маслянистую обувку, застывает на ней каплями, не в силах скатиться. На зеленой, умытой траве желтеет свежошкуренное бревно – будто рублевая свеча из ярого воска. Уголками, на живульку, воткнуты в него топоры. Двенадцать штук. Изогнули отглаженные ладонями топорщица, ждут урочной минуты, когда понадобятся.

Но минута еще не приспела.

Вчера шадринский священник отслужил молебен на закладке нового храма, вчера же на бугре поставили крест и толпилась здесь вся Огнева Заимка от мала до велика. А сегодня – дело артельное. Касается оно только самих плотников. Дюжев и тот отошел в сторону, сел под старой ветлой, сделал вид, что никаким краем не вмешивается, а сам нет-нет да и глянет – что там, возле креста, делается?

Роман как старшой распоряжался несуетно. Развернул

холщовую тряпку, вынул на свет темную от старости икону Николая Чудотворца, приставил ее к изножию креста. Еще дед Романа хаживал с ней в первопрестольную, да и он, внук, не раз вставал перед ней зеленым мальчишкой, когда зачинали артелью новое дело. Смиренно склонял голову, слушая старшого. А нынче он сам принял под руку одиннадцать мастеров, нынче он – первый ответчик за будущий храм в Огневой Заимке.

Над иконой, вбив четыре колышка, сделал Роман маленький пологий навес и зажег под ним заранее припасенную свечку. Капли дождя, которые успели упасть на лик Николы, быстро высохли, ярче проступили глаза, будто загорелись живым, потаенным светом. Сурово, пристально смотрел мужицкий заступник на плотников, заглядывал каждому из них прямо в душу.

Роман вытер лицо ладонью, смахивая дождевую морось, кашлянул, прочищая горло, и заговорил негромко, медленно подбирая слова, будто их подколачивал друг к другу:

– Делу нашему, ребята, Никола-угодник свидетель. Перед им и ответ держать будем. Там, на небе. А здесь, на земле грешной, коли кто провинится – перед артелью отчитываться станет. Черных дел и мыслей на душу не берите. Один нагрешит, хоть и втихомолку, а расхлебывать всем придется. Либо бревно сорвется, либо сруб завалится – всякое случается, сам видывал. – Роман еще раз вытер лицо широкой ладонью и закончил: – Так вот и обяжемся друг перед дружкой.

Господи, пособи!

Склонил голову перед иконой, перед горящей свечой, перекрестился и отошел. Следом за ним – остальные одиннадцать плотников. От иконы – к бревну. Разбирали топоры, расходились каждый на свое место.

Ударил первый топор, крепкая лиственница отозвалась вздохом, и сразу, обвально, застукотили в ответ остальные топоры, заглушили шуршание дождика. Он еще покрапал недолго и перестал. Тучи раздернулись, остатки их скатились по пологому склону неба к окоему, а на влажную парящую землю ударило солнце.

2

Митенька глянул, запрокидывая голову вверх, и прищурился. Солнце светило жарко, волглая рубаха на плечах высыхала, а кожу пробил первый пот. Митенька радовался. Сила в руках играла, тяжести топора он не чуял, щепка с бревна стесывалась, как по нитке, и казалось, что работать так, без усталости и без передыху, он сможет и день, и два, и неделю.

В артель Митенька напросился сам. Долго обхаживал маменьку, не зная с какого боку завести разговор, опасаясь, что получит отказ, которому имелаась причина: вот-вот начнется покос, там рожь подойдет, молотьба – только успевай поворачивайся. Правда, общество на сходе приговорило, что своим артельщикам, деревенским, на покосе и на молотьбе сделают помочь. Но помочь для маменьки не резон, не позволит она, чтобы чужие помогали хлеб убирать. На такой случай у нее и ответ имелся: «Коли сам не можешь с хлебом управиться, тогда и на обед помощников кликай, чтобы жевать пособляли».

Но очень уж Митеньке в артели хотелось быть. На твоих глазах, да с твоей работой встанет на бугре церковь красивее шадринской; Роман сам обещал на сходе, что красивее будет, – как таким случаем попуститься? А тут еще подоспела новость. Дюжев пообещал всех артельщиков кормить за свой счет и у себя дома. А кто варить станет? Ясное дело – Сте-

пановна, а при ней – Феклуша. Приходи каждый день наравне со всеми и любуйся, сколько душе угодно. С Феклушей у Митеньки никак крепкой нитки не связывалось. Вскоре после Никольской ярмарки он вместе с братьями в дальний извоз ушел, а вернулся, когда уже зимняя дорога пала. Разбежался после разлуки к своей симпатии, а Феклуша его дичиться стала, норовила при редких встречах проскользнуть мимо. Причины такой охлады Митенька не ведал и носил на душе печальную тягость. Она и пересилила боязливость перед строгостью маменьки. Он выбрал добрую минуту и завел разговор. Устинья Климовна, чего никак не ожидал Митенька, даже не дослушала, сразу и согласилась. Сказала, что сама про то думала, что им, Зулиным, не с руки на задках доброго дела бегать, да только одного боится – возьмут ли Митеньку? Вдруг откажут за неумелость – стыда не оберешься.

Митенька на такие слова всерьез осерчал – вида, правда, не показывал. А про себя мыслил: «Это меня-то не возьмут? Да я кому хошь нос утру!» Слова эти, вслух не сказанные, маменька в глазах у него прочитала, ответила:

– Раньше времени-то не хорохорься. Ладно, ступай.

Митенька отправился к Роману. Тот послушал, хмыкнул в бороду и спросил: каким инструментом парень работать собирается?

– Топором, чем еще? – удивился Митенька.

– Сначала, парень, головой надо работать, а после – топором. Уяснил? Теперь топор неси, поглядеть надо.

Митенька сбегал домой, принес топор, подал его Роману. Тот пощелкал ногтем по обуху, послушал. А чего слушать? Топорик каленый, привезенный с Ирбитской ярмарки, звенит – колокольчик под дугой, да и только.

– Ладно, – сказал Роман, – поглядим.

Закатал рукав, обнажил волосатую руку и провел острием по коже. Впритирку. На блескучей кромке топора остался седой волос.

– Держи, – совсем милостиво сказал Роман. – Сейчас вот что сделай... – поставил на попу махонькую чурочку, сам в сторону отошел. – Расколи на две половинки, и чтоб обе ровные были.

Прицелился Митенька – ах! Чурочка разлетелась. Одну половинку к другой приставили, и оказалось – одна побольше, а другая поменьше. А надо вот как! Роман взял топор у Митеньки и обе половинки на четвертушки – ах! ах! Приставили. Две пары до того ровные, будто такими на корню выросли. Митенька пал духом.

– Не беда, – утешил Роман. – Дело наживное, было бы желание наживать. А в артель приходи.

К полудню на небе не осталось ни единой тучи. Земля высохла, воздух накалился и пропитался тяжелым духом смолы.

Роман, а вместе с ним еще три самых опытных плотника, завязали первый венец подклета. Когда четыре бруса улеглись концами друг в друга, накрепко смыкаясь в вырублен-

ных чашах, когда замкнули они собой широкое пространство и на бугре обозначилось будущее основание церкви, все остальные плотники разом побросали работу и подошли поглядеть. Митенька ударил обухом по брусу, топор отскочил, едва не выскользнув из рук, а брус отозвался нутряным гулом.

– На крепость пробуешь? – спросил Роман, и сам тоже ударил обухом. – Крепость железная, на два века хватит, не меньше. А может, и поболее. Все, ребята, передых. Пошли к Дюжеву на обед, попробуем разносолов.

В ограде у Дюжева стоял длинный стол под дощатым навесом. На столе – миски расставлены, ложки разложены, не деревянные, а железные: как-никак, а сам Дюжев обедом кормит. Тихон Трофимыч стоял на крыльце и, дожидаясь артельщиков, в третий раз допытывался у Степановны: чего они там с Феклушей наварили, скоро ли на стол подадут, да не мало ли, вдруг на всех не хватит? В первый раз Степановна ответила, что она не первый день у печки стоит, во второй раз – поджала губы и промолчала, а в третий раз совсем осерчала и выговорила хозяину:

– Ты, Тихон Трофимыч, хуже свекровки – то да потому, то да потому, а я чо – без головы живу? Своими делами занимайся, я со своими сама управлюсь!

И так сердито мимо протопала, что толстые доски, настенные в ограде, прогнулись под ней, закрихтели, а после долго не могли выпрямиться. Тихон Трофимович тоже покряхтел, но Степановне ничего не ответил. Что тут скажешь! Он и сам дивился своей дерганой хлопотливости, когда дело, даже самое чудешное, касалось будущей церкви. С ней он, еще не построенной, сроднился так, будто стояла она на бугре давным-давно. По той же причине, из-за неясного опасения, откладывал отъезд в Томск, где ждали срочные дела. «Успею, – думал он. – День-другой дела потерпят. Останусь

тут, присмотрю». Хотя понимал, что присматривать никакой нужды нет: Роман во всем проявлял старательность, смекалку и дюжевский догляд ему не требовался.

Вышел из дома Вахрамеев, встал на крыльце позади хозяйина и в спину ему забубнил:

– Тихон Трофимыч, изволили возчикам по полтиннику платить, я прикинул – много выходит... Не надо бы их баловать. Войдут во вкус – не остановишь, станут глотки драть, по рублю потребуют...

– Плати, как я сказал.

– Оно, конечно, воля ваша, своим деньгам вы сами хозяйева, но церква эта – одно разоренье. Лучше бы пароход купить да прибавочное дело завести, как другие, вам бы...

– Да не тяни ты душу с меня! Сказано – делай! Ты почему такой жадный, братец, а? – Дюжев повернулся и уставился на своего приказчика, словно в первый раз видел.

Вахрамеев потрогал бородавку на носу и ответил:

– Я не жадный, Тихон Трофимыч, я по-разумному рассуждаю, хочу от лишней траты вас оберечь.

– Ты оберегай, оберегай, только не гунди мне под ухо. Сходи лучше артельщиков на обед позови, время пришло.

Но звать артельщиков не потребовалось. Роман распахнул калитку, шагнул в ограду и вольно поклонился Дюжеву. Отступил в сторону, пропуская остальных, а Митеньку, который стеснительно замешкался, подтолкнул в спину – шире шагай, не озирайся. Сам же к столу подошел последним и

примостился с краю. Когда все артельщики расселись, занял почетное место во главе стола и Тихон Трофимыч. Гнутый венский стул, вынесенный по такому случаю из дома, сухо крякнул под грузным телом, но сдюжил.

Пока Феклуша разливала похлебку по мискам, Тихон Трофимыч сам резал хлеб. Ребром прижимал необъятный каравай к груди и отваливал от него такие ломти, которыми можно было закрыть, как крышкой, любую миску. Похлебку хлебали молча, без разговоров, – промялись. Кашу ели степенней, успевая похваливать Степановну и Феклушу, а когда уж принялись за кислое молоко и ложки стали помелькивать реже, с расстановкой, тогда завели и речи. Первым, как и положено, заговорил хозяин:

– Лес-то хорош, Роман Иваныч?

Роман облизал ложку, распустил пошире кожаный ремешок на животе и ответил, как он отвечал Дюжеву, наверное, в десятый раз:

– Лес, Тихон Трофимыч, добрый. Звонкий лес, вылежался. Думаю, оплошки не будет. Подклет завязали, теперь вверх пойдем.

Другие плотники, которые постарше, тоже вступили в разговор: как матицы класть, чтобы потолок высоко не поднимался, как стропила с углов восьмерика выводить, да как сам восьмерик не завалить – все обговаривали, до последней мелочи.

Вахрамеев за стол не садился, стоял на крыльце, слушая

разговор плотников с хозяином, гладил бородавку на носу и морщился, будто ему в рот напихали кислой ягоды. Постоял так, постоял и ушел в дом.

Митенька общего разговора не слышал, у него другое на уме было: глазами так и зыркал за Феклушей, куда бы та ни пошла. Феклуша, чуя на себе его взгляд, иногда украдкой озиралась, и Митенька едва не подсигивал на скамейке. У него даже в ушах начинало гудеть. Узнать бы – почему она в прятки играет с ним? Что за причина?

– Приснул, парень? Эх тебя разморило с угощенья. Слышь, нет? Оглох, сердешный?

Прокатился над столом добродушный, сытый смешок. Митенька вскинулся: что, его спрашивают?

– Тебе, тебе, парень, толкую, – смеялся Роман. – Первый раз вижу, чтоб с открытыми глазами задремывали.

– Я не дремал! – стал оправдываться Митенька.

И снова – смех.

– У него другая дрема... – значительно сказал Дюжев и поднял вверх палец: знаю, мол, а не проболтаюсь. Митенькины переглядки с Феклушей он давно заметил, даже вздохнул потерянно, вспомнив давний ужин в доме Федора, себя и Марьяшу, разваленную по полу картовницу и перевернутую сковородку. Было иль не было? Куда сгнуло? Было, было и никуда не сгнуло – в душе осталось. Он покачал головой, соглашаясь со своим нехитрым ответом, и поспешил на выручку Митеньке:

– Ты не тушуйся, Митрий, тебя Роман Иваныч про дело спрашивает.

– Ну, – подтвердил Роман. Застегнул на рубахе все пуговицы, готовясь встать из-за стола. – В кружало рубить можешь?

– Да я не пробовал, – покраснел Митенька.

– Значит, учить станем. Пошли, ребята. Спасибо, Тихон Трофимыч, за хлеб, за соль, дай Бог тебе здоровья, а нам – силы да терпенья.

Скоро на бугре снова заговорили топоры.

Утром Васька и Петр поехали рубить жерди. Тихон Трофимович углядел, что крыша в деннике прогнулась и погнила, велел ее перекрыть. Хозяин сказал – работникам делать. И хотя с утра крапал дождик, откладывать на другой день не стали. Не сахарные, сказал им Тихон Трофимович, не размокнете. Оно, конечно, не сахарные, но пока ехали вдоль Уени, пока миновали елань и добрались до молодого сосняка, вымокли до нитки.

В сосняке лошадей выпрягли, набросили им на передние ноги путы и пустили пастись. Сами же развели костерок и решили обсушиться. Мокрые сучья горели плохо, и Васька с Петром не столько обсушились, сколько наглотались дыма. С досады плюнули на зряшную затею, взялись за топоры. К обеду напластали жердей на два полных воза.

Дождик к тому времени кончился, в сосняке поднялся теплый пар, а вместе с ним – злой и голодный комар. Он подстегнул работников, и они махом вытаскали срубленные жерди на опушку, где обдувал ветерок.

Снова запалили костер, достали харчишки, прихваченные из дома, и, только захрумкали первыми свежими огурцами, как за спинами у них кто-то вкрадчиво кашлянул. Обернулись разом, и видят – стоит косматый мужик с длинной бородой, которая свалялась, как пакля. Одежка на нем – как ре-

шето, будто цепные кобели драли. На длинной ляжке – холщовая сумка через плечо. Пустая. А в руках – ружье. Приклад – под мышкой, цевье – на ладони. Понимай, как хочешь. Может, просто держит так, для удобства, а, может, наизготовку взял. Васька крадучись потянулся к топору.

– Не балуй! – осадил его косматый мужик. – Не балуй!

И чуть-чуть ружье приподнял. Черная дырка ствола оказалась на уровне Васькиной переносицы. Он торопливо отдернул руку.

Петр не шевелился. Смотрел на мужика и улыбался, словно хотел без слов утихомирить его: «Не пугай нас, остепенись. Скажи, что надо, а мы услышим». Мужик опустил ружье, переступил ногами, обутыми в опорки, строго спросил:

– Который из вас Алексеич по батюшке?

– Я, однако, буду, – не переставая улыбаться, откликнулся Петр. – Какая нужда привела?

– Я тебе одному скажу. Ты, кудрявый, сбегай к лошадям, глянь за ними, а мы пока лясы поточим.

Васька поднялся, пошел к лошадям, переставляя отяжелевшие ноги, как ходули. «Путы с коня скину, скакну, и – поминай, как звали. Не с руки мне с этими каторжанцами». Васька знал, из каких мест явился к Дюжеву новый работник. Хозяин сам ему рассказал, наказав держать язык за зубами. И еще наказывал смотреть за Петром в оба глаза. А чего за ним смотреть: лишнего слова не скажет, работает исправно, свободная минута выдастся – ляжет на топчан, за-

ведет руки за голову и мурлычет под нос никому не понятное: то ли песню без слов ведет, то ли разговор... Подбивал его Васька вина выпить, но Петр отнекивался. После этого Васька потерял к новому работнику всякий интерес. Живет и живет...

А оно, видишь, как вышло!

Конь стоял совсем рядом. Васька напряжился, прогоняя тяжесть в ногах и цепко высматривая – с какой стороны ловчее зайти?

– Эй, кудрявый! – властно окликнул его мужик. Васька оглянулся, и мужик погрозил ему грязным пальцем: – Не вздумай скачки устраивать. Догонять не побегу – жакан догонит.

Ноги снова отяжелели, Васька отошел подальше от коня. Чтобы не дразнить мужика, стоял к нему спиной, пытался подслушать разговор, но ни единого слова разобрать не смог.

Скоро Петр позвал его. Васька глянул из-за плеча, а мужика уже нет – как корова языком слизнула. Исчезли вместе с ним и недоеденные харчишки, даже горькие попки от огурцов, которые валялись в траве. Крепко, видно, бродяга наголодался.

Петр сидел на прежнем месте и улыбался, как ни в чем не бывало.

– Наговорился? – спросил его Васька, понемногу приходя себя, избавляясь от тяжести в ногах. – Знакомцы у тебя... Увидишь и обхезашься. Ладно, пойдем жерди накладывать,

ехать надо.

Петр крутил в руках сосновую веточку и не шевелился, будто не слышал. Вдруг вскинул голову, глянул снизу вверх и негромко сказал:

– Василий, поедем на бал...

– Куда-а-а?

– Мещерские бал сегодня дают. Вечер, снег, фонари, экипажи у подъезда – праздник! Душа ликует... Шпоры по паркету – цок, цок... И она – Танечка Мещерская. Она так смотрит, такие у нее глаза, что можно умереть, улыбаясь, – но сам Петр, неся непонятную для Васьки околесицу, не улыбался. Был серьезен и строг. Поднял глаза в небо, словно хотел рассмотреть то, о чем так непонятно говорил. – И вот уже музыка на хорах... Скрипки... А глаза зовут, ждут...

Петр резко поднялся, вытянулся, как струна на балалайке, и Васька, окончательно дурея от того, что видел, не узнал своего напарника. Сидел один человек, а когда поднялся, оказалось – совсем другой. Подбородок вздернут, левая рука заведена за спину, ноги в броднях – пятками вместе, носки врозь, плечи развернуты, и ожидалось, что весь он, стройный, напряженный, вот-вот зазвенит. Шагнул, низко опустил голову, доставая до груди подбородком, заговорил:

– Если вы не изволили забыть, вы обещали мне подарить сегодня первый тур. Все дни я жил только вашим обещанием... – тут он поднял левую руку, правой – будто кого обнял, и пошел кружиться на одних носках по опушке. Легко, неве-

сомо. Говорил, не прерываясь: – Вы не находите, что сегодня чудесный вечер, я мечтал о нем. А вы думали, что я не умею мечтать? О, я неисправимый мечтатель, к сожалению. Вы так хотите знать? Что ж, извольте. Я мечтаю, чтобы до утра длился этот танец, а утром мы бы сели на тройку и – в деревню. Помните? Приют труда и вдохновений, если не ошибаюсь...

Внезапно Петр остановился, захохотал и упал на спину, раскинув руки.

«С ума съехал. Говорят, с испугу такое бывает, заговариваются. Чо делать-то?» – Васька дергался то в одну, то в другую сторону, не насмеливаясь подойти к Петру. Тот лежал, как умер, закрыв глаза, а губы, всегда улыбающиеся, были плотно сомкнуты. Все-таки Васька насмелился, подошел. Петр открыл глаза, поднялся и обычным голосом сказал:

– Пойдем, Василий, жерди накладывать.

Два воза накладывали они очень долго. Петр то и дело отдыхал, жерди таскал, как сонный, а когда Васька, уложив и увязав свой воз, стал ему помогать, он просто отошел в сторону и сел.

«Как я сразу-то не смикитил! Он время тянет, чтобы мужик тот подале убрался. Бойтся, что я доложу и погоню учинят. Ясное дело – повадки каторжански, за один присест не поймешь. Ну жох! Выплясывал, а я уши развесил!» – Васька понимал, что ему давно в деревне надо быть, рассказать об увиденном, но – не хотелось скакать, сломя голову, не хоте-

лось рассказывать. А почему – он и сам не знал.

Домой тронулись после обеда. Забравшись на воз и разбавив вожжи, Петр попросил:

– Ты не говори хозяину. Забудь, что видел. А... – махнул рукой, – как знаешь.

Васька отмолчался, и до самой Огневой Заимки они не проронили ни слова.

Через великую неохоту, а деваться все равно некуда – Васька Дюжева за отца почитал – рассказал о том, что случилось на опушке.

– Зови его! – сразу распорядился Дюжев.

Но звать уже было некого. Петра нигде не нашли, и никто не видел, куда он скрылся.

Догонять и искать его Дюжев не стал: решил, что себе дороже.

Через три дня Тихон Трофимович выехал в Томск. Дела торопили, и больше откладывать их было никак нельзя. Отъезжал он с тяжелым сердцем, с непонятной тревогой, сердился, а когда на выезде из деревни коренник споткнулся и едва не опрокинул возок, пригорюнился: «Никак старость знак подает. Ты, мол, Тихон Трофимыч, не хорохорься, а полезай на печку кости греть». Но тут же и усмехнулся своим мыслям: рано на печку, рано. В это самое время долетел до него стук топоров, не умолкавших на бугре. Он ободрился и даже повеселел.

С тем и отбыл.

В Томск приехали вечером, когда косые лучи закатного солнца окрасили окна домов на окраине розовым светом. Мимо городского кладбища выкатили на Иркутскую улицу и в скором времени были уже на Белозерской площади, где прогуливался праздный люд. Летние зонтики, цветные наряды барынь, играющее закатными отблесками Большое озеро – все это сливалось в глазах, пестрело и казалось, что в городе праздник.

– От живут люди! – воскликнул с облучка Митрич. – Слышь, Тихон Трофимыч, гляжу и мыслю: у них что, круглый год Пасха?

Дюжев не отозвался. Он уже думал о городских делах,

подзапущенных после долгой отлучки, беспокоился, и было ему не до разговоров с Митричем.

А вот и дом.

Как и положено купцу второй гильдии, Дюжев ставил свой дом основательно, крепко и немножко с похвальбой: первый этаж – каменный, второй – деревянный, о двенадцати высоких и узких окнах. Наличники и карнизы, а также углы, застелены были тонкой, ажурной резьбой. Богато, пышно, словно не из дерева вырезали, а из мягкой шерсти ткали витиеватые кружева.

На первом этаже был магазин. Широкие окна, служившие одновременно и витринами, приказчики уже успели закрыть железными ставнями. «Рано торговать бросили, рано, – подсадовал Тихон Трофимович, тяжело поднявшись на крыльцо и дернув веревочку колокольчика. – Разбаловались без догляду, надо будет хвоста накрутить».

Но вошел в дом и забыл о припасенной строгости. Да и как не забыть, если прислуга доложила, что его дожидается настырный посетитель, который сидит с утра и никуда не собирается уходить. «Кого еще там черти притащили?!» Тихон Трофимыч распахнул дверь в прихожую и на порожке запнулся. Вот те новость! Навстречу ему поднялся со стула Петр. Поздоровался и, как всегда, улыбнулся, словно хотел извиниться: «Так уж получилось, Тихон Трофимыч, не обесудь».

Одет он был в новую пиджачную пару, тугой крахмальный

воротник манишки подпирал гладко выбритый подбородок, туфли на ногах блестели, а в руках Петр держал шляпу и тросточку. И держал так, что было ясно: хаживал он раньше в шляпе и с тросточкой. «Ну, груздь, – невольно подивился Тихон Трофимыч. – Интересно, в каком бору ты вылупил-ся?» А вслух сказал:

– С чем пожаловали, господин хороший?

– Разговор у меня имеется, Тихон Трофимович.

– Шибко ты разговорчивый, как я гляну. Ладно, еще раз послушаем. Чего врать станешь?

Петр сел на стул, ногу – на ногу, а шляпу – на колено. И тросточкой в пол – тук, тук... Тихон Трофимыч обозлился:

– Ты, парень, не красуйся здесь. Говори, что хотел, и чтоб больше глаза мои тебя не видели. Еще раз объявишься – на себя обижайся, сдам властям, как миленького. Понял, что сказано? Или повторенье требуется?

– Погоди, Тихон Трофимыч, погоди. Для начала, для ясности – я ведь обещание дал Зубому, что оберегать тебя буду. Оберегать же тебя требуется по простой причине: глаз на тебя положили. Зимой, как я знаю, обоз разгрохали, а по весне – магазин на Ушайке.

Тихон Трофимович насторожился, не перебивал. Петр говорил верно: после случая с обозом на один из дюжевских магазинов, действительно, налетали воры. Хряпнули гирькой задремавшего сторожа, вывернули замки и запоры, про-

шлись по магазину, как стадо. Не столько унесли, сколько изорвали, изломали и напакостили. Ладно, что сторож окле- мался, выполз на улицу и заблажил. Варнаки, спугнутые кри- ком, покидали, что успели, в возок, и унеслись. Ищи ветра!

Сторож ничего вразумительного не рассказал. Ударили – обеспамятел, а очнулся – скорей на помощь звать. Даже не разглядел, кто такие, во что одеты, одно лишь видел – трой- ку. Про нее и твердил в участке, дотрагиваясь пальцем до грязной тряпицы, которой обмотал ушибленную голову.

Темное дело, и концов тогда не нашли.

– А самое главное, – неторопливо и обстоятельно продол- жал Петр, – сегодня ночью опять гости должны явиться.

– Куда? – опешил Тихон Трофимович.

– Да вот сюда, – Петр постучал тросточкой в пол. – Сооб- щай, Тихон Трофимыч, в участок, пусть засаду делают. А я пока спрячусь: мне, сам понимаешь, с полицией чай не пить.

Петр ловко надел шляпу, поднялся со стула и выставил тросточку, собираясь уходить, но Дюжев проворно встал у него на пути и осадил:

– Все, милый друг, хватит! Я тебе не девка, чтобы ты мне загадки загадывал. Не выпущу, пока все не выложишь. Го- вори, как на духу!

– В участок тебе поспешать надо, Тихон Трофимыч, а мне уходить. Я через недельку вернусь, все расскажу...

– Не выпущу! – уперся Тихон Трофимович. – Рассказывай по порядку: кто, что и как?

– Время не ждет, Тихон Трофимыч. Сам себе навредить хочешь? – Петр говорил негромко, рассудительно, с обычной своей извиняющейся улыбкой. И улыбкой этой чуть остудил Дюжева, но не настолько, чтобы тот поверил до конца. Он так и сказал:

– Не верю я тебе! Хватит за нос водить! Ступай, братец, в подвал. Сиди там и жди. Коли обманул, я тебя тепленьким в полицию сдам.

Тихон Трофимович попятился к двери, отпихнул ногой одну створку, крикнул приказчиков. Те явились, как два молодца из сумки, – мигом. Петр оглядел их, крепких, широкоплечих, и, покачав головой, послушно вышел из прихожей, послушно направился в подвал. Когда за спиной у него с глухим стуком захлопнулись тяжелые двери, окованные железными пластинами, он снял шляпу и присел на корточки в темный угол. По каторжанской привычке ему легче думалось в таком положении. А подумать надо было о многом.

Думал и Тихон Трофимович. Верить или не верить? В конце концов решил: береженого Бог бережет.

И отправился в полицейский участок.

Пристав Боровой был еще на службе. Сидел в своем кабинете, по-домашнему расстегнув мундир, и пил чай. А до чая, наверняка, отведал напитка покрепче, о чем свидетельствовала широкая, как у быка, шея, налитая ярко-красным цветом, и такое же широкое лицо с коротко подстриженной бородой, сплошь покрытое алыми мятежами. Славился при-

став бешеной силой, был хитрым, как старый лис, и не дурак выпить. А еще слыл мастером на всякие шутки, которые со временем, обрастая небылью, передавались томскими жителями, как легенды. Одна из них родила и заглазное прозвище Борового – Ваня, Не Сади Медведя. А дело так было.

Лет десять назад – Боровой служил тогда исправником в Нарыме – мужики везли зимой бочку спирта для казенных надобностей. Везли в самый накал крещенских морозов, когда плевков мигом застывает и звякает об дорогу льдинкой. Чтобы согреться, принялись мужики отцеживать из бочки хмельную влагу. И столько ее наотцеживали, что уже не знали, как оправдаться – слишком убыль была заметной.

Решили клясться, что спирт на морозе вымерз. Но клясться не пришлось, оправдательный случай сам подоспел. У зимовья, последнего перед Нарымом, оставили они бочку на улице, а утром, когда вышли, – остолбенели: бочка с саней свалена, дно у ней выхлестнуто, а рядышком медведь-шатун спит, так крепко, аж всхрапывает. Мужики налетели, оглушили пьяного медведя, связали его и доставили в Нарым, как преступника. Боровой мужиков за полоротость отmaterил, затем хитро прищурился и хохотнул:

– Если бы он всю бочку вызул, он бы сдох на месте! А, православные?

На что мужики резонно ему возразили: часть-то зверь выпил, а другая часть на снег вытекла. Боровой подвинулся к мужикам поближе, повел красным, мясистым носом, лоя

знакомый дух перегара, снова хохотнул и отдал строгую команду – медведя посадить в каталажку за разбойное нападение и завести на него дело о нарушении питейного устава.

Что и было исполнено.

Медведь, прикованный на цепь, очухался в каталажке и заревел благим матом, жалуясь на людей и людское начальство. А тут, как на грех, из губернии высокий проверяющий прикатил. Спрашивает – что за рев? Боровой, как и положено примерному служаке, вытянулся в струнку и отрапортовал: медведь ревет, посаженный за разбой и нарушение питейного устава. Веди, говорит высокий проверяющий, показывай. Повели, показали. Полюбовался высокий проверяющий на невиданную картину и выдал свой приказ, еще суровой и смешней: «Ты, сукин сын, видно, в отместку заточил зверя, он, видно, тебе, такому-рассякому, взятку не дал!» Да и шарахнул Боровому выговор служебный, с денежным начетом. Еще и приговаривал: «Не сади медведя, не сади медведя!»

Хоть Тихону Трофимовичу и не до смеха в этот раз было, но, грешным делом, не удержался и ухмыльнулся, вспомнив старую байку.

– А вот и честной купец пожаловал! – радушно встретил его Боровой. – Чем обрадуешь, Тихон Трофимыч?

– Шибко радовать нечем, – Дюжев присел напротив пристава и выложил все, что сообщил ему Петр. Об одном умолчал – о самом Петре. Сказал, что новость принес какой-то

бродяга, который тут же исчез.

Боровой посуровел, чашку с чаем – в сторону, горой вздыбился над столом и застегнул мундир на все пуговицы. Маленькие, косо посаженные чалдонские глаза заблестели, а голос стал резким и отрывистым:

– Ступай домой и жди. Как начнет темнеть, с черного хода наспустишь. А дальше – не твоя забота.

Явился Боровой с двумя полицейскими. Тихона Трофимовича отправил наверх, в дальнюю комнату, полицейских положил на пол в магазине, чтобы лишний раз не маячили, приказчикам велел сидеть в зале и не рыпаться, пока не позвонят. Сам расположился в прихожей. Ходил он, огромный, как гора, по-кошачьи, неслышно. Ни одна половица под ним не скрипнула.

Стемнело. В доме никто не спал, а тишина стояла, как в могиле. В полночь у крайнего окна в прихожей зашебаршали. Боровой беззвучно, как тень, передвинулся в угол и замер. Трудились варнаки сноровисто: плеснули на железный пробой масла, неслышно подпилили змейкой, поддели фомкой – хрусть! Переждали – не слышит ли кто? Распахнули деревянные ставни. К одной половинке окна, к стеклу, протянулись две широкие ладони, прилипли. Захрустел стекло-рез. «Медом намазали...» – сразу догадался Боровой, вспомнив старый воровской способ: ладони мажутся медом и приставляются к стеклу, затем стекло-резом – хрр, и стекло, приклеившееся к ладоням, аккуратно вынимается. Чистая работа. Если бы не знатье – стоял бы в пяти шагах и ничего не слышал.

Первый варнак заскользнул через окно в прихожую. Оглядываясь, вышел на середину и остановился, ожидая напар-

ника. Боровой, таясь в углу, потянул на себя штору. Боялся, что его обнаружат раньше времени, а допустить этого никак нельзя: хоть и оставил на улице засаду, но спугнешь – брызнут в разные стороны, гоняйся после за ними.

Второй варнак запаздывал. И тут случилось, чего и подумать никто не мог: один из полицейских задушенно чихнул. У варнака в руке блеснул нож. Эх, язви ты в душу, всю малину испортили! Боровой одним прыжком вымахнул из угла, на ходу зацепил варнака кулаком в голову и, закрыв лицо руками, с разбега выломил плечом раму, вываливаясь на улицу. Ночная тишина огласилась свистками и топотом.

Но схватить удалось только кучера, которого сдернули с коляски, стоявшей неподалеку от дюжевского дома. Притащили его, насмерть перепуганного, в дом, зажгли лампу, и Боровой, глядя на него, аж плюнул с досады – узнал одного из томских извозчиков. Отопрется ведь, сучий сын, скажет, что наняли, велели подождать, а что за люди, по какой надобности, знать не знаю и ведать не ведаю... Ну, беда! А где варнак?

– Дак это... – виновато переминался с ноги на ногу чихнувший полицейский, – это самое... рука у вас, господин пристав, дюже тяжелая... В ножку стола, прямо темечком, и дух – вон!

Боровой, с матерками, – в прихожую. На полу, у стола, лежал бородатый варнак, по-детски подвернув под себя руки и выставив локти. Рядом валялся кривой нож с тяжелой на-

борной ручкой. Курчавые, темные волосы варнака подмокли кровью, а из-под затылка у него далеко по крашеной половине выкатилась кривая и алая полоска.

Попробуй теперь дознайся, кто он таков и где остальные...

Эх, умыли Борового!

На хозяйстве, как и заведено было, Дюжев оставил вместо себя Вахрамеева. Тот каждый день приходил на бугор, садился на чурочку, смотрел на плотников. Морщился, хмыкал, думая о чем-то своем, и, посидев, уходил. Дома ворчал на Степановну, на Феклушу, на Ваську, всякий раз отыскивая за ними огрехи, и в конце концов так надоел всем троим, что они перестали его слушать – гундит, и пусть гундит. Ни жары, ни морозу от его гундежа нету.

В доме без хозяина стало скучно. Если бы не Васька, гораздо на проказу, мухи бы и те перемерли. А додумался он вот до чего.

Ночью подобрался к окошку вахрамеевской комнатенки, сунул за наличник гвоздь, к гвоздю привязал веревочку, а к веревочке, на малом расстоянии от наличника, – увесистый камушек. Получилась стукалка. Васька залез в огород, за прясло, посидел там, дожидаясь, когда Вахрамеев покрепче уснет, и давай за веревочку дергать. Камушек по стеклу – стук, стук... В комнатенке белое замельтешило. Васька веревочку натянул, подождал. Белое улеглось. И опять – стук, стук... Вахрамеев боязливо выбрался на улицу. В руке у него поблескивал топор. Долго шарился под окном, но камушка на веревочке не разглядел и убрался в дом. Лампа погасла. Васька, закусив рукав рубахи, чтобы не прыснуть, по новой,

да ладом – стук, стук...

Теперь в доме уже две лампы загорелись. На подмогу Вахрамеев призвал Степановну и Феклушу. Испуганно перекликаясь, они долго топтались втроем у окна, обходили вокруг дома, пока Степановна не заругалась: «Стучатся к ему! Да кому ты нужен! Вредность твоя в голову стучит, або моча ударила!»

«На седни хватит, – решил Васька, – а то замордует баб за ночь». Смотал стукалку и отправился спать на сеновал.

На следующий день Вахрамеев подступил к Ваське с распросами – где он ночью был?

Васька покаянно опустил синие глаза, вздохнул и признался:

– На бабе был, на сеновале лежали. Слышал, как ты меня звал, а оторваться не мог, баба не пускала, зараза. Завтра приведу, тебе отдам, чтобы черти не блазнились...

Вахрамеев плюнул и отступился.

А Васька вечером помылся в бане – суббота как раз была – нарядился, расчесал кудри и отправился на вечерку. Поскрипывали на нем новенькие сапоги – знатные: меж каблучком и подошвой сухая береста вложена для громкого голоса, на вышитом пояске гребень покачивался, алая рубаха словно огонь светилась. В такой рубахе хочешь не хочешь, а поведешь плечами, играясь, – знай наших, мы таковские!

На вечерки летом собирались на берегу Уени, ниже бугра под старыми ветлами. Пятачок там до того был утрамбован

плясками и хороводами, что трава на нем не росла, а земля под каблуками гудела, как деревянная. Слышались от ветел треньканья балалайки и манящие, внезапные, как птичьи вспорхи, девичьи смешки. Васька круче заводил плечами, беспокойное нутро его загорелось, требуя выхода. А во круг лето цветет, в самом своем истоке, травы пахнут, от земли сладкий дух накатывает – дурманит, кружит. Эх, жизнь, кучерявая да длинная, век бы тебе не нарадоваться! До того восторг вызрел – никуда от него не деться! – что Васька крутнул головой – не видит ли кто? – спружинил ногами, подпрыгнул, и еще раз, еще выше, словно улететь хотел в небо и достать круглый купол кудрями. Но и этого мало – томит восторг. Тогда Васька в третий раз – вверх! и от всей души, во всю моченьку: э-эаа-аах! Так звонко, накатисто крикнул – самому уши заложило.

И дальше пошел. Степенно, со скрипом, поигрывая плечами.

На пяточке Васька протолкался в круг, ногу в новом сапоге отставил – на пятку, и надраенным, блескучим носком – в обе стороны, для шику. Поясок на гребешке крутит, лыбится, а сам на девок – коршуном. Девки – как цыпушки разноцветные, выбирай любую, только не промахнись. Васька нацелился на Аньку Шамаеву и заиграл глазами, завораживая. У Нюрки от этих поглядок земля поплыла под ногами, вертучей сделалась, как долбленка на дурной воде. И нет под рукой упора, ухватиться не за что, выскользнет долбленка,

тонуть придется. А тонуть не страшно: вода теплая, ласковая...

Васька бросил гребешок на пояске крутить, носком сапога туда-сюда мотать перестал, готовясь козырным тузом подкатить к Аньке, но тут его сзади за рубаху потянули. Что за оказия? Кто такой прыткий? А это – Митенька Зулин:

– Пойдем, два слова сказать хочу...

Эх, не ко времени! Но Митенька не отстаёт, тянет за рубаху. И чего такого спешного телку лопухому понадобилось? Вышел следом за Митенькой из круга.

– Васька, покличь Феклушу на улицу.

Вон она, печаль какая! У Васьки на языке сразу же срамная поговорка заездила, но глянул на Митеньку и осекся. До того парень расстроен был и горем убит, что даже губы подрагивали. Да разве можно из-за девки так сердце томить? Васька не понимал, в его голове такое расстройство не помещалось. Но Митеньку почему-то было жаль. Ладно, Анька, пока он ходит, состариться не успеет.

– Пошли.

Феклушу на улицу Васька в два счета выманил. Сказал, что Романа по дороге встретил, а тот велел дочери срочно домой показаться. Феклуша поверила, следом за ним – порх за ограду, а там уж Митенька дожидался. Остановилась, как на заплот налетела. Замерла.

– Счастливо ворковать вам, – Васька изогнулся, кланяясь им, и подался на пяточок, подергивая плечами и звонко по-

скрипявая сапогами.

Митенька с Феклушей остались вдвоем на пустой улице. Надо было говорить о чем-то, а слов не было. Потерялись слова, спрятались. От горькой досады Митенька совсем отчаялся и сделал такое, о чем раньше и помыслить не насмеливался. Обхватил Феклушу за плечи, ткнулся губами в щеку – поцеловал. Она ойкнула, уперлась руками в грудь, но Митенька руки перехватил, пересилил слабую девичью силу и повел Феклушу за собой. Она упиралась, пыталась не давать ему хода, но вдруг безнадежно вздохнула и пошла послушно, как на веревочке. Молча миновали они шумливый пяточок, сделав длинный круг, чтобы их не увидели, и скоро оказались на бугре, у бревен, от которых и в прохладе крепко припахивало смолой.

Митенька нырнул под бревна, вытащил махонький узелок. Положил на обе ладони, словно хлебный каравай, подал Феклуше.

– Тебе, гостинчик привез... – сказал первые слова, а дальше, как запруду прорвало. Понесло, понесло – откуда что бралось. Говорил Митенька: он еще в тот раз, когда в лавке увидел, новую кофту ей пожелал купить, но случая ему не выдалось, а в Томске в извозе был и купил, а Феклуша на него не смотрит, а сердце болит, какой уже месяц ноет, и в ум он взять не может, почему Феклуша к нему такая неласковая, он ведь всей душой к ней, а тут еще маменька разговоры про женитьбу заводить стала, а ему без Феклуши – край, не

будет без нее жизни...

Феклуша узелок прижала к щеке, голову наклонила, слушала. В ответ – ни слова. Митенька потянулся, еще раз поцеловать насмелился, а у нее – слезы на щеках, соленые. Отпрянул, потух. И сел на бревно – ноги подкашивались.

– Ты... ты... – Феклуша сглотнула тугой комок, – ты почему не сказал, что в извоз уехал? Я же не знаю, до сухоты извелась, а тебя нет и нет. Я подумала, что ты обманной.

– Да я хотел, подошел, а там Васька в ограде, Дюжев – не насмелился я...

И осекся Митенька. Теплая девичья ладонь легла ему на голову, перебирала волосы, гладила и сверху, на горячий лоб парню, слезы легкие – кап... И шепотом:

– Пропала я, миленький, совсем пропала. Снял ты с меня голову неразумную...

Ночь на свою вторую половину скатывалась. Митенька с Феклушей стояли у дюжевской ограды и никак распрощаться не могли. Васька досыта намиловался с Анькой Шамаевой, возвращался домой и раздумывал: изладить Гундосому стукалку или не надо? Издалека разглядел в потемках любезную парочку и остановился: напугать или не надо?

Но в этот раз ничего придумать не успел.

– Ой! – пискнула Феклуша и поперхнулась. Дернула Митеньку за рукав и долгим визгом огласила Огневу Заимку: – Гори-и-и-т! Горит, ой, мамочки!

И разом все трое уставились на бугор. А там взметывалось, на глазах вырастая, безмолвное пламя. Шире и выше. Струились отсветы, полого ложась на темную синь неба. Из пламени вывинтился черный столб дыма и ударил ввысь, разрываясь на излете в грязные лохмы.

– Гундосого буди! – Митенька толкнул онемевшую Феклушу к калитке. – Людей поднимать надо!

Вспомнил про било, которое висело у сборни. Хотел бежать туда, но его опередил колокольный звон. Взлетел, неизвестно откуда, огласил жителей Огневой Заимки. Звенел, не утихая, пока не откликнулись ему в разных концах деревни испуганные, заполошные голоса.

Проснулась Огнева Заимка, вскинулась в тревоге и выско-

чила из изб.

Митенька вбежал в дюжевскую ограду, схватил две лопаты, что у амбара стояли, и бегом – на зарево. За воротами столкнулся с Васькой, и они вдвоем махом махнули по светлеющей улице, выскочили на бугор, к бревнам. В лица им дохнуло нестерпимым жаром – волосы затрещали. Парни отскочили, а бревна, вслед им, с ружейным треском – искрами. Горели не только бревна, горел и срубленный уже подклет. Все горело, вздымаясь огнем и дымом, с гулом уходя в небо.

Набегал народ. От речки в ведрах тащили воду. Замелькали багры.

– Бревна! Бревна растаскивай! – захлебываясь, кричал Роман, одетый в одно исподнее и босой.

Васька с Митенькой опрокинули по ведру воды на себя и с лопатами – к бревнам. Полетели в огонь пластики земли, будто крошки в необъятную пасть. Но подоспели на подмогу другие мужики, лопаты замелькали чаще, и огонь нехотя присел. Тогда пошли в ход багры. Длинные бревна, пыхающие искрами, раскатывали в разные стороны, и они сжигали траву до самого корня.

– На подклет! На подклет, мужики! – голосил, не щадя глотки, Роман. – Тут бабы погасят! Подклет спасай!

Навалились на подклет с четырех сторон. Сбили пламя, стали растаскивать сруб, а он – ни в какую. Близко не подскочишь, а багом издали не вывернешь – на совесть были венцы связаны, накрепко.

Так и догорел сруб, с треском откидывая от себя угли.

Огонь добивали долго. Под утро, когда уже стало светать, пламя на бугре опало, но бревна и сруб шаяли, испуская угарный едучий дым. Кашляя, отплевываясь, люди потянулись к реке. Жадно пили, смывали с себя сажу и копоть, перекликались, узнавая друг друга.

Над Уенью вставало солнце, дивилось, глядя на черное пепелище.

Роман, пока был в запале и бегал по пожару, поджарил босые ноги. Когда обмылся и горячка схлынула, оказалось – ступить нельзя. Тогда вывернул обе ступни внутрь, чтобы раны не маять, и потащился на бугор. Исподнее на нем было черным-черно. Его окликали – куда полез? – предлагали пособить, но Роман не отзывался. Царапался наверх, вывернув колесом ноги, охал при каждом шаге и ругал себя самыми последними словами: в суматохе совсем из ума выпало, что крест недалеко от бревен стоит, а под крестом – родительская икона. Ах ты, голова садовая, разве можно такое забыть?! Полез на бугор еще быстрее. Наглотался едучего дыма, глаза заслезились, но когда добрался, все сразу и ясно увидел: крест стоял целым-целехонький, а под ним – икона в полной сохранности. Даже восковой наплыв от свечи не растаял. Роман дотянулся до него пальцами, а воск – прохладный. «Чудеса, Господи!» – только и прошептал он, оглядываясь по сторонам. А вокруг, сажени в полторы от креста, трава выгорела, земля дымится. У креста же трава нетрону-

тая, даже не опалилась. Роман опустился на колени – сил уже не было навыверт стоять – и долго смотрел на икону, заглядывая Николаю Чудотворцу в суровые глаза.

После пожара, – а дышал он и дымил еще целый день, пока к вечеру не прибил его окончательно легкий дождик, – в Огневой Заимке только и говорили про колокольный звон, про икону и крест, которые уцелели. Говорили и о другом – отчего занялся пожар, откуда пала первая искра? Но толкового ответа никто не знал. Один лишь Вахрамеев гундосил, баюкая руку, обожженную на бугре:

– Молодяжку надо стращать! Не иначе как они баловались, они запалили. До поздней ночи на пяточке базлали. Никакого удержу не знают, совсем выпряглись... А ты где была, Фекла, тоже на пяточке резвилась?

– Не было меня там, – смушалась и краснела Феклуша. – Я за вами бегала, будить хотела, а не нашла вас...

Вахрамеев поморщился, заговорил еще недовольней:

– Худо искала, я первый на бугор прибежал, за вас, гулеванов, расхлебывал. Погодите, вернется Тихон Трофимыч, все ему передам, пусть общество собирает, управу на вас ищет...

Дюжева все ждали.

А Тихон Трофимович, еще ничего не зная о том, что случилось в Огневой Заимке, разгадывал в это время другие загадки.

Второй вечер подряд, закончив дневные дела, он поднялся в верхнюю комнату и слушал Петра, которого чуть было не сдал Боровому. После ночного появления варнаков Дюжев подступил к парню, как с ножом к горлу: «Рассказывай, что ты за человек, либо в участок отведу!»

Сначала Петр заупрямился, но в этот раз Тихон Трофимович не отступался, и Петр согласился: «Ладно, Тихон Трофимович, слушай, если любопытство имеется».

И развернулась перед Дюжевым чужая судьба, словно раскатился домотканый половичок с разноцветными, хитрыми узорами, где темная полоска соседствует с красной, а весь рисунок до того запутан судьбой-рукодельницей, что сразу и не разберешься. Дюжеву только и оставалось, что дивиться: «Надо же как случается, а!»

– Таким вот образом, Тихон Трофимыч, я к тебе и попал, – закончил Петр и осторожно кашлянул в кулак, печально поднял глаза и с тихой улыбкой спросил: – Не верится?

– Ошибаешься, парень, верится. Сам не знаю по какой причине, а верю, – он покрутил в руках вазу из алтайской яшмы, которая стояла у него на столе, потрогал ее гладкий,

округлый бок и вздохнул. – Ну и задачку ты мне задал... С одного маху не разгрызешь. Да...

Они долго молчали, думая каждый о своем, и эти тихие, молчаливые минуты еще больше сближали их, таких разных и не похожих друг на друга. Тихон Трофимыч вздохнул, поднялся из-за стола, с треском выпрямляя спину, и неожиданно сказал – не спросил, а сказал уверенно:

– А ты ведь, парень, утаил от меня – ты ведь с ранешними делами не развязался и здесь про них думаешь. Так?

– Так, – спокойно согласился Петр. – И кое-чего надумал. Только не пытай меня, Тихон Трофимыч, дай срок, я тебе и про это расскажу.

– Ладно, пытаться не буду. Пойдем-ка спать. Утро вечера мудренее, с утра и думать станем, как нам дальше жизньешку крутить. Лады?

– Я посижу еще.

– Дело любезное, оставайся...

Тихон Трофимович вышел, тихонько прикрыл за собой створки дверей; шел и, покачивая головой, бормотал под нос: «Лихое дело выплясалось, во сне не приснится...»

Петр остался один. Сидел, уперев взгляд в широкие шкафы, которые стояли вдоль стены всей комнаты. В шкафах плотно, одна к одной, стояли книги, до которых Дюжев был большой любитель. Петр смотрел на золоченые корешки, и лицо его, обычно улыбочное, отвердело, осунулось и враз постарело. Стало видно, что не так уж и молод этот человек, и

понятно – горького ему пришлось нахлебаться досыта.

Он медленно поднялся из-за стола, устало сторбился и подошел к шкафам. Раскрыл резную дверцу, внимательно оглядел золоченые корешки и вытащил книгу в голубом переплете. Наугад раскрыл ее и удивленно вскинул брови, наткнувшись сразу именно на те строки, которые хотелось ему прочитать:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

Прижал раскрытую книгу к лицу, сдавленно выдохнул в гладкую, лощеную бумагу: «Господи, неужели это был я?!»

Да, это был он, счастливый и юный поручик лейб-гвардии гренадерского полка, единственный и любимый сын вдовой помещицы Щербатовой из Тульской губернии. Это она, маменька, выбралась из деревенской глуши, приехала в Санкт-Петербург и долго возобновляла старые, почти совсем утраченные связи – десять с лишним лет не бывала в столице, с тех пор как схоронила мужа. В конце концов уговорила хлопотать о Петеньке влиятельного князя Мещерского, с которым ее покойный муж когда-то начинал службу. И добились своего – Петеньку зачислили в гвардию.

– Я, милый друг, все сделала, – говорила она на прощание, тяжело поднимаясь на цыпочки, чтобы перекрестить и поцеловать сына. – Деревенька, слава богу, еще кормит, расходы свои я сокращу, средства у тебя будут. Служи, меня не забывай, честь фамильную береги. А к Мещерским навещайся, они люди богатые, знатные, но не заносчивые. Батюшку твоего помнят и уважают. И дочка у них – золото. Ну, наклонись, я тебя еще раз поцелую.

Маменька благополучно отъехала в деревню, а Петр Щербатов отправился в полк, где его ждала новая жизнь. Он окунулся в нее с головой. И плыл по течению с беззаботностью юности, которая, как известно, живет одним днем и далеко не заглядывает, считая, что впереди у нее безбрежная веч-

ность.

Праздничные смотры, выезды в лагеря, полковые обеды, на которых появлялся иногда сам Государь, – все это захватило Петра, закружило, и он даже представить себе не мог, что такая жизнь может круто измениться.

Офицерское собрание приняло своего нового товарища благосклонно, а по прошествии времени сослуживцы по-настоящему полюбили его за добрый нрав и бесхитрость.

Поздней осенью полк вернулся из летних лагерей в казармы. Там Щербатова дожидалось маменькино письмо, в котором она подробно извещала о своих делах, давала наказы, а в конце письма не удержалась и строго выговорила: «Получила весточку от Мещерских, и пишут они, что ты у них не бываешь. Как же так, милый друг? Мещерские хлопотали о твоём назначении в гвардию, а ты не соизволил даже нанести визит, как полагается молодому и благородно воспитанному человеку. Надеюсь, что ты справишься и во второй раз мне напоминать не придется».

Чтобы не расстраивать маменьку, которую он все-таки очень любил, хотя и тяготился излишней, на его взгляд, опекой, Щербатов отложил все дела, и на следующий день, в новеньком мундире, стройный и ловкий, он уже стоял перед князем Мещерским, а тот, распушив пышные седые усы, попростецки трепал его по плечу и приговаривал:

– Экий ты молодец! Настоящий гвардионус! Эх, когда-то и я орлом летал! Пойдем, пойдем, я тебя своему семейству

представляю.

На всю жизнь, до самой гробовой доски, запомнил Щербатов этот миг: высокое окно в просторной зале, за окном – серенькая петербургская морось, а перед окном, на белизне кружевных штор, – будто яркий высверк солнечного света. Он никогда не видел таких золотящихся, таких сверкающих волос, какие были у Татьяны Мещерской. Казалось, что они искрят. И рядом с этим неистовым светом – тихие, сосредоточенные глаза, живущие как бы отдельно своей глубокой и скрытой мыслью.

Щербатов был ослеплен. Так бывает, когда внезапно взглянешь на солнце, стоящее в самом зените. Он что-то говорил, как принято говорить в таких случаях, смотрел на князя, на старую княгиню, на Константина, брата Татьяны, отвечал на расспросы, что-то рассказывал о службе, но переживал и ощущал только одно – ослепление.

И всю долгую, серую осень, а затем и зиму он жил с ощущением этого неистового, искрящегося света.

В конце зимы Щербатов объяснился с Татьяной Мещерской и попросил ее руки. И объяснение, и предложение поручика были благосклонно приняты. Правда, старая княгиня, как показалось Щербатову, была не очень довольна такой партией для своей дочери, но последнее слово в этой семье оставалось за князем, а он относился к поручику с искренней любовью. Может быть потому, что, глядя на него, видел самого себя – молодого, красивого. В свое время князь участ-

вовал в Крымской кампании и до сих пор тяжело переживал поражение. Частенько вспоминал о прошлом и, вспоминая, вдруг начинал принимать совершенно иные решения, чем принимало их командование в те годы в Крыму, и, согласно этим решениям, принятым сейчас князем, русская армия обязательно бы победила. Впрочем, иногда он останавливался в своих пространных рассуждениях на полуслове, замолкал и после долгой паузы говорил со вздохом, как деревенский мужик:

– Да, знать бы где соломки постелить...

Еще он безумно любил медвежью охоту и, как только из деревни докладывали ему, что мужики отыскали берлогу, все бросал, собирался в один день и уезжал, чем вызывал у старой княгини приступы раздражения, которые она даже не скрывала при посторонних.

– Это же какое-то безумие, – говорила она, болезненно потирая виски и нервно расхаживая по комнате. – Это какой-то атавизм: бродить по снегу, убивать несчастное животное, а потом с мужиками пить у костра водку. Нет, я не понимаю!

– Маман, у русских генералов две слабости, – сухо улыбаясь и поглядывая на Петра, который дожидался выхода Татьяны, заговорил Константин. – Задним числом выигрывать проигранные сражения, либо употреблять вместо противника животину, у которой нет даже сабли.

Разговор этот завязался совершенно неожиданно для Щербатова, и он поначалу даже не хотел в него вступать, но

сам тон и даже голос Константина вдруг вызвали раздражение. Он не удержался и высказал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.